
Русский лес
РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Русский лес. Рассказы русских писателей

Иван Сергеевич Тургенев, Владимир Галактионович Короленко, Антон Павлович Чехов, Константин Георгиевич Паустовский, Сергей Тимофеевич Аксаков, Максим Горький, Михаил Михайлович Пришвин, Александр Иванович Куприн, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Михаил С. Бордуновский

Аннотация
Русский лес. Рассказы русских писателей
Сергей Аксаков
  Очерк зимнего дня
  Лес
Иван Тургенев
  Бежин луг
  Бирюк
  Лес и степь
Антон Чехов
  Егерь

Владимир Короленко
Лес шумит
Дмитрий Мамин-Сибиряк
В глуши
Александр Куприн
Олеся
Максим Горький
В лесу
Михаил Пришвин
Кладовая солнца
Константин Паустовский
Мещёрская сторона

Аннотация

Для русских людей лес не просто некая богатая ресурсами закрытая биосфера, а настоящее метафизическое пространство, одухотворенное и наделенное глубинными смыслами. Веками лес служил неиссякаемым источником вдохновения для писателей и поэтов.

Собранные в этом сборнике повести и рассказы признанных русских классиков (Сергея Аксакова, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Владимира Короленко, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Александра Куприна, Максима Горького, Михаила Пришвина и Константина Паустовского) окажут практически терапевтическое воздействие на современного городского жителя, занятого бесконечной суетой и потерявшего связь с родной природой.

Русский лес
Рассказы русских писателей

Художественное оформление Степана Костецкого.

В оформлении переплета использованы: картина «Дети в лесу» художника Ивана Шишкина (1832–1898) и иллюстрация: ArtistMiki / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com / FOTODOM.

© Пришвин М. М., наследник, 2026
© Паустовский К. Г., наследник, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026



Сергей Аксаков

(1791–1859)

Очерк зимнего дня

В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие декабрьские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина. Врывая столбы для постройки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году богатого урожая озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеяными, так что и деваться с ними было некуда. С трудом пробивали пешнями и топорами проруби на

пруду; лед был толщиною с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелою, ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла прорубь, так что для чищенья ее надобно было подмащивать мостки. Скот грелся постоянно едою, корма выходило втрое против обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, пожалуй, не хватит и до Алексея божьего человека. Стали бить лишнюю скотину, и мясо так подешевело, что говядину продавали по три копейки ассигнациями, а баранину по две копейки за фунт. Достаточные крестьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали замечать, что от мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли воды, один на другой, а как-то невесело, беспокойно становилось

на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот, наконец, пошли косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт. Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

Хотя мне, как страстному ружейному охотнику, мелкоснежье было выгодно и стрельба тетеревов с подъезда, несмотря на стужу, была удобна и добычлива, но, видя общее уныние и сочувствуя общему желанию, я также радовался снегу. Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад, и с наслаждением ходил по дорожкам, осыпаемый снежными хлопьями. Засветились огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперек улицы; предметы смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок… «Какая пороша будет завтра, — подумал я, — если снег к утру перестанет идти, где малик — там и русак…» И охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. Я особенно любил следить русаков, которых множество водилось по горам и оврагам, около хлебных крестьянских гумен. Я с вечера приготовил все охотничьи припасы и снаряды; несколько раз выбегал посмотреть, идет ли снег, и убедясь, что он идет по-прежнему, так же сильно и тихо, так же ровно устилая землю, с приятными надеждами лег спать. Длинна зимняя ночь, и особенно в деревне, где ложатся рано: бока пролежишь, дожидаясь белого дня. Я

всегда просыпался часа за два до зари и любил встречать без свечки зимний рассвет. В этот день я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать, что делается на дворе. На дворе была совершенная тишина. Воздух стал мягок, и, несмотря на двенадцатиградусный мороз, мне показалось тепло. Высыпались снежные тучи, и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне на лицо. В деревне давно проснулась жизнь; во всех избах светились огоньки и топились печи, а на гумнах, при свете пылающей соломы, молотили хлеб. Гул речей и стук цепов с ближних овинов долетал до моего слуха. Я засмотрелся, заслушался и не скоро воротился в свою теплую комнату. Я сел против окошка на восток и стал дожидаться света; долго нельзя было заметить никакой перемены. Наконец, показалась особенная белизна в окнах, побелела изразцовая печка, и обозначился у стены шкаф с книгами, которого до тех пор нельзя было различить. В другой комнате, дверь в которую была отворена, уже топилась печка. Гудя и потрескивая и похлопывая заслонкой, она освещала дверь и половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом. Но белый день вступал в свои права, и освещение от топящейся печки постепенно исчезало. Как

хорошо, как сладко было на душе! Спокойно, тихо и светло! Какие-то неясные, полные неги, теплые мечты наполняли душу…

«Лошади готовы: пора, сударь, ехать!» — раздался голос Григорья Васильева, моего товарища по охоте и такого же страстного охотника, как я. Этот голос возвратил меня к действительности. Разлетелись сладкие грезы! Русачьи малики зарябили перед моими глазами. Я поспешно схватил со стены мое любимое ружье, моего неизменного испанца…

1858

Лес

Вся лесная дичь живет более или менее в лесу, некоторые же породы никогда его не покидают. Итак, я предварительно рассмотрю и определю, сколько умею, разность лесов и лесных пород.

Я сказал о воде, что она «краса природы»; почти то же можно сказать о лесе. Полная красота всякой местности состоит именно в соединении воды с лесом. Природа так и поступает: реки, речки, ручьи и озера почти всегда обрастают лесом или кустами. Исключения редки. В соединении леса с водою заключается другая великая цель природы. Леса — хранители вод: деревья закрывают землю от палящих лучей летнего солнца, от иссушительных ветров; прохлада и сырость живут в их тени и не дают иссякнуть текучей или стоячей влаге. Убыль рек, в целой России замечаемая, происходит, по общему мнению, от истребления лесов.

Все породы дерев смолистых, как то: сосна, ель, пихта и проч., называются красным лесом, или краснолесьем. Отличительное их качество состоит в том, что вместо листьев они имеют иглы, которых зимою не теряют, а переменяют

их исподволь, постепенно, весною и в начале лета; осенью же они становятся полнее, свежее и зеленее, следовательно встречают зиму во всей красе и силе. Лес, состоящий исключительно из одних сосен, называется бором. Все остальные породы дерев, теряющие свои листья осенью и возобновляющие их весною, как то: дуб, вяз, осокорь, липа, береза, осина, ольха и другие, называются черным лесом, или чернолесьем. К нему принадлежат ягодные деревья: черемуха и рябина, которые достигают иногда значительной вышины и толщины. К чернолесью же надобно причислить все породы кустов, которые также теряют зимой свои листья: калину, орешник, жимолость, волчье лыко, шиповник, чернотал, обыкновенный тальник и проч.

Красный лес любит землю глинистую, иловатую, а сосна — преимущественно песчаную; на чистом черноземе встречается она в самом малом числе, разве где-нибудь по горам, где обнажился суглинок и каменный плитник. Я не люблю красного леса, его вечной, однообразной и мрачной зелени, его песчаной или глинистой почвы, может быть, оттого, что я с малых лет привык любоваться веселым разнолистным чернолесьем и тучным черноземом. В тех уездах

Оренбургской губернии, где прожил я большую половину своего века, сосна — редкость. Итак, я стану говорить об одном чернолесье.

По большей части чернолесье состоит из смешения разных древесных пород, и это смешение особенно приятно для глаз, но иногда попадаются места отдельными гривами или колками, где преобладает какая-нибудь одна порода: дуб, липа, береза или осина, растущие гораздо в большем числе в сравнении с другими древесными породами и достигающие объема строевого леса. Когда разнородные деревья растут вместе и составляют одну зеленую массу, то все кажутся равно хороши, но в отдельности одни другим уступают. Хороша развесистая, белоствольная, светло-зеленая, веселая береза, но еще лучше стройная, кудрявая, круглолистая, сладко-душистая во время цвета, не ярко, а мягко-зеленая липа, прикрывающая своими лубьями и обувающая своими лыками православный русский народ. Хорош и клен с своими лапами-листами (как сказал Гоголь); высок, строен и красив бывает он, но его мало растет в знакомых мне уездах Оренбургской губернии, и не достигает он там своего огромного роста. Коренаст, крепок, высок и могуч, в несколько обхватов толщины у корня, бывает многостолет-

ний дуб, редко попадающийся в таком величавом виде; мелкий же дубняк не имеет в себе ничего особенно привлекательного: зелень его темна или тускла, вырезные листья, плотные и добротные, выражают только признаки будущего могущества и долголетия. Осина и по наружному виду и по внутреннему достоинству считается последним из строевых дерев. Не замечаемая никем, трепетнолистная осина бывает красива и заметна только осенью: золотом и багрянцем покрываются ее рано увядающие листья, и, ярко отличаясь от зелени других дерев, придает она много прелести и разнообразия лесу во время осеннего листопада.

Заросль, или порость, то есть молодой лес приятен на взгляд, особенно издали. Зелень его листьев свежа и весела, но в нем мало тени, он тонок и так бывает част, что сквозь него не пройдешь. Со временем большая часть дерев посохнет от тесноты, и только сильнейшие овладеют всею питательностью почвы и тогда начнут расти не только в вышину, но и в толщину.

Чернея издали, стоят высокие, тенистые, старые, темные леса, но под словом «старый» не должно разуметь состарившийся, дряхлый, лишенный листьев: вид таких дерев во множестве

был бы очень печален. В природе все идет постепенно. Большой лес всегда состоит из дерев разных возрастов: отживающие свой век и совершенно сухие во множестве других, зеленых и цветущих, незаметны. Кое-где лежат по лесу огромные стволы, сначала высохших, потом подгнивших у корня и, наконец, сломленных бурею дубов, лип, берез и осин.

При своем падении они согнули и поломали молодые соседние деревья, которые, несмотря на свое уродство, продолжают расти и зеленеть, живописно искривясь набок, протянувшись по земле или скорчась в дугу. Трупы лесных великанов, тлея внутри, долго сохраняют наружный вид; кора их обрастает мохом и даже травою; мне нередко случалось второпях вскочить на такой древесный труп и — провалиться ногами до земли сквозь его внутренность: облако гнилой пыли, похожей на пыль сухого дождевика, обхватывало меня на несколько секунд… Но это нисколько не нарушает общей красоты зеленого, могучего лесного царства, свободно растущего в свежести, сумраке и тишине. Отраден вид густого леса в знойный полдень, освежителен его чистый воздух, успокоительна его внутренняя тишина и приятен шелест листьев, когда ветер порой про-

бегает по его вершинам! Его мрак имеет что-то таинственное, неизвестное; голоса зверя, птицы и человека изменяются в лесу, звучат другими, странными звуками. Это какой-то особый мир, и народная фантазия населяет его сверхъестественными существами: лешими и лесными девками, так же как речные и озерные омута — водяными чертовками, но жутко в большом лесу во время бури, хотя внизу и тихо: деревья скрипят и стонут, сучья трещат и ломаются. Невольный страх нападает на душу и заставляет человека бежать на открытое место.

На ветвях дерев, в чаще зеленых листьев и вообще в лесу живут пестрые, красивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц: токуют глухие и простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки; свиристели, лесные жаворонки, дубоноски и все многочисленное крылатое, мелкое певчее племя наполняет воздух разными голосами и оживляет тишину лесов; на сучьях и в дуплах дерев птицы

вьют свои гнезда, кладут яйца и выводят детей; для той же цели поселяются в дуплах куницы и белки, враждебные птицам, и шумные рои диких пчел.

Трав и цветов мало в большом лесу: густая, постоянная тень неблагоприятна растительности, которой необходимы свет и теплота солнечных лучей; чаще других виднеются зубчатый папоротник, плотные и зеленые листья ландыша, высокие стебли отцветшего лесного левкоя да краснеет кучками зрелая костяника; сырой запах грибов носится в воздухе, но всех слышнее острый и, по-моему, очень приятный запах груздей, потому что они родятся семьями, гнездами и любят моститься (как говорят в народе) в мелком папоротнике, под согнивающими прошлогодними листьями.

В таком чернолесье живут, более или менее постоянно, медведи, волки, зайцы, куницы и белки.

Между белками попадаются очень белесоватые, почти белые, называемые почему-то горлянками, и белки-летяги: последние имеют с обеих сторон, между переднею и заднею лапкою, кожаную тонкую перепонку, которая, растягиваясь, помогает им прыгать с дерева на дерево на весьма большое

расстояние. Во время такого прыжка, похожего на полет, я убил однажды летягу на воздухе, и вышло, что я застрелил зверя влет. Хищные птицы также в лесах выводят детей, устраивая гнезда на главных сучьях у самого древесного ствола: большие и малые ястреба, луни, белохвостики, копчики и другие. В густой тени лесных трущоб таятся и плодятся совы, сычи и длинноухие филины, плачевный, странный, дикий крик которых в ночное время испугает и непугливого человека, запоздавшего в лесу. Что же мудреного, что народ считает эти крики ауканьем и хохотом лешего?

Если случится ехать лесистой дорогою, через зеленые перелески и душистые поляны, только что выедешь на них, как является в вышине копчик, о котором я сейчас упомянул. Если он имеет гнездо неподалеку, то обыкновенно сопровождает всякого проезжего, даже прохожего, плавая над ним широкими, смелыми кругами в высоте небесной. Он сторожит изумительно зоркими своими глазами, не вылетит ли какая-нибудь маленькая птичка из-под ног лошади или человека. С быстротою молнии падает он из поднебесья на вспорхнувшую пташку, и если она не успеет упасть в траву, спрятаться в листьях дерева или куста, то копчик вонзит в нее острые когти и

унесет в гнездо к своим детям. Если же не удастся схватить добычу, то он взмоет вверх крутой дугою, опять сделает ставку и опять упадет вниз, если снова поднимется та же птичка или будет вспугана другая. Копчик бьет сверху, черкает, как сокол, на которого совершенно похож. Иногда случается, что от больших детей вылетают на ловлю оба копчика, самка и чеглик, и тогда они могут позабавить всякого зрителя и не охотника. Нельзя без приятного удивления и невольного участия смотреть на быстроту, легкость и ловкость этой небольшой, красивой хищной птицы. Странно, но самому жалостливому человеку както не жаль бедных птичек, которых он ловит! Так хорош, изящен, увлекателен процесс этой ловли, что непременно желаешь успеха ловцу. Если одному копчику удастся поймать птичку, то он сейчас уносит добычу к детям, а другой остается и продолжает плавать над человеком, ожидая и себе поживы. Случается и то, что оба копчика, почти в одно время поймают по птичке и улетят с ними; но через минуту один непременно явится к человеку опять. Копчик — загадочная птица: на воле ловит чудесно, а ручной ничего не ловит. Я много раз пробовал вынашивать копчиков (то же, что дрессировать собаку), и гнездарей и

слетков; выносить их весьма легко: в три-четыре дня он привыкнет совершенно и будет ходить на руку даже без вабила (кусок мяса); стоит только свистнуть да махнуть рукой, стоит копчику только завидеть охотника или заслышать его свист — он уже на руке, и если охотник не протянет руки, то копчик сядет на его плечо или голову — живой же птички никакой не берет. Эта особенность его известна всем охотникам, но я не верил, пока многими опытами не убедился, что это совершенная правда.

Потеряв всякую надежду, чтобы копчик стал ловить, я обыкновенно выпускал его на волю, и долго видели его летающего около дома и слышали жалобный писк, означающий, что он голоден. Получал ли копчик прежнюю способность ловить на воле, или умирал с голоду — не знаю.

Лес и кусты, растущие около рек по таким местам, которые заливаются полою водою, называются уремою. Уремы бывают различны: по большим рекам и рекам средней величины, берега которых всегда песчаны, урема состоит предпочтительно из вяза, осокоря, ракиты или ветлы и изредка из дуба, достигающих огромного роста и объема; черемуха, рябина, орешник и крупный шиповник почти всегда им сопутству-

ют, разливая кругом во время весеннего цветения сильный ароматический запах. Вяз не так высок, но толстый, свилеватый пень его бывает в окружности до трех сажен; он живописно раскидист, и прекрасна неяркая, густая зелень овальных, как будто тисненых его листьев. Зато осокорь достигает исполинской вышины; он величав, строен и многолиствен; его бледно-зеленые листья похожи на листья осины и так же легко колеблются на длинных стебельках своих при малейшем, незаметном движении воздуха. Его толстая и в то же время легкая, мягкая, красная внутри кора идет на разные мелочные поделки, всего более на наплавки к рыболовным сетям, неводам и удочкам. Такие уремы не бывают густы, имеют много глубоких заливных озер, богатых всякою рыбою и водяною дичью. Везде по берегам рек и озер, по песчаным пригоркам и косогорам, предпочтительно перед другими лесными ягодами, растет в изобилии ежевика (в некоторых губерниях ее называют куманикой), цепляясь за все своими гибкими, ползучими, слегка колючими ветками; с весны зелень ее убрана маленькими белыми цветочками, а осенью черно-голубыми или сизыми ягодами превосходного вкуса, похожими наружным образованьем и величиною на

крупную малину. Хороша такая урема: огромные деревья любят простор, растут не часто, под ними и около них, по размеру тени, нет молодых древесных побегов, и потому вся на виду величавая красота их.

Уремы другого рода образуются по рекам, которых нельзя причислить к рекам средней величины, потому что они гораздо меньше, но в то же время быстры и многоводны; по рекам, протекающим не в бесплодных, песчаных, а в зеленых и цветущих берегах, по черноземному грунту, там редко встретишь вяз, дуб или осокорь, там растет березник, осинник и ольха; там, кроме черемухи и рябины, много всяких кустов: калины, жимолости, боярышника, тальника, смородины и других. Эти-то уремы особенно мне нравятся. Многие деревья и предпочтительно таловые кусты пронизаны, протканы и живописно обвиты до самого верха цепкими побегами дикого хмеля и обвешаны сначала его зелеными листьями, похожими на виноградные листья, а потом палевыми, золотыми шишками, похожими на виноградные кисти, внутри которых таятся мелкие, круглые, горькие на вкус, хмельные семена. Множество соловьев, варакушек и всяких певчих птичек живет в зеленых, густорастущих кустах

такой уремы. Соловьи заглушают всех. День и ночь не умолкают их свисты и раскаты. Садится солнце, и ночники сменяют до утра усталых денных соловьев. Только там, при легком шуме бегущей реки, посреди цветущих и зеленеющих деревьев и кустов, теплом и благовонием дышащей ночи, имеют полный смысл и обаятельную силу соловьиные песни… но они болезненно действуют на душу, когда слышишь их на улице, в пыли и шуме экипажей, или в душной комнате, в говоре людских речей.

По небольшим рекам и речкам, особенно по низменной и болотистой почве, уремы состоят из одной ольхи и таловых кустов, по большей части сквозь проросших мелким камышом. Изредка кое-где торчат кривобокие березы, которые не боятся мокрых мест, равно как и сухих. Такие уремы бывают особенно густы, часты и болотисты, иногда имеют довольно маленьких озерков и представляют полное удобство к выводу детей для всей болотной и водяной дичи; всякие звери и зверьки находят в них также безопасное убежище.

И этот лес, так поверхностно, недостаточно мною описанный, эту красу земли, прохладу в зной, жилище зверей и птиц, лес, из которого

мы строим дома и которым греемся в долгие жестокие зимы, — не бережем мы в высочайшей степени. Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, а с ним недалеко до бедности: срубить дерево без всякой причины у нас ничего не значит. Положим, что в настоящих лесных губерниях, при всем старании не так многочисленного их населения, лесу не выведут, но во многих других местах, где некогда росли леса, остались голые степи, и солома заменила дрова. То же может случиться и в Оренбургской губернии. Не говорю о том, что крестьяне вообще поступают безжалостно с лесом, что вместо валежника и бурелома, бесполезно тлеющего, за которым надобно похлопотать, потому что он толст и тяжел, крестьяне обыкновенно рубят на дрова молодой лес; что у старых дерев обрубают на топливо одни сучья и вершину, а голые стволы оставляют сохнуть и гнить; что косят траву или пасут стада без всякой необходимости там, где пошли молодые лесные побеги и даже зарости. Все это еще не в такой степени губительно, как выварка поташа и сиденье, или сидка, дегтя: для поташа пережигают в золу преимущественно ильму, липу и вяз, не щадя, впрочем, и других древесных пород, а для дегтя снимают бересту,

то есть верхнюю кожу березы. Хотя эта съемка сначала кажется не так губительною, потому что береза гибнет не вдруг, а снятая осторожно, лет через десять наращает новую кожу, которую снимают вторично; но станут ли наемные работники осторожно бить бересту, то есть снимать с березы кожу? и притом ни одна, с величайшею осторожностью снятая береза не достигает уже полного развития: она хилеет постепенно и умирает, не дожив своего века.

Из всего растительного царства дерево более других представляет видимых явлений органической жизни и более возбуждает участия. Его огромный объем, его медленное возрастание, его долголетие, крепость и прочность древесного ствола, питательная сила его корней, всегда готовых к возрождению погибающих сучьев и к молодым побегам от погибшего уже пня, и, наконец, многосторонняя польза и красота его должны бы, кажется, внушать уважение и пощаду… но топор и пила промышленника не знают их, а временные выгоды увлекают и самих владельцев… Я никогда не мог равнодушно видеть не только вырубленной рощи, но даже падения одного большого подрубленного дерева; в этом падении есть что-то невыразимо грустное: сна-

чала звонкие удары топора производят только легкое сотрясение в древесном стволе; оно становится сильнее с каждым ударом и переходит в общее содрогание каждой ветки и каждого листа; по мере того как топор прохватывает до сердцевины, звуки становятся глуше, больнее… еще удар, последний: дерево осядет, надломится, затрещит, зашумит вершиною, на несколько мгновений как будто задумается, куда упасть, и, наконец, начнет склоняться на одну сторону, сначала медленно, тихо, и потом, с возрастающей быстротою и шумом, подобным шуму сильного ветра, рухнет на землю!.. Многие десятки лет достигало оно полной силы и красоты и в несколько минут гибнет нередко от пустой прихоти человека.

Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. 1852. Разряд IV. Дичь лесная

Иван Тургенев

(1818–1883)

Бежин луг

Из цикла «Записки охотника»

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места;

далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете

сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба…

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся… «Эге! — подумал я, — да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», — и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на

другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня… «Э! да это Парахинские кусты! — воскликнул я наконец, — точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща… Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело

и утихало, — одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство

тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших, белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую… Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река

огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы…

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга… Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней;

два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ноги, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег

под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось

почти никакого шума… Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной… Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков был пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой;

небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый — что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку.

И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки», Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не

шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал… Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне[1].

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим[2].

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым,

---

[1] Сноски: 1

«*Рольней*» или «черпальней» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

[2] Сноски: 2

«*Лисовщики*» гладят, скоблят бумагу. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-то, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то[3] спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак слушается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут… Ну, подошел тот к нашей двери, подождал,

[3] Сноски: 3

«*Дворцом*» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего… Вдруг, глядь, у одного чана форма[4] зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так… Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли… Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь как! — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что, — спросил Федя, — картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры… Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука… А вон звездочка покатилась.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

---

[4] Сноски: 4

Сетка, которой бумагу черпают. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, — пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется… А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, — а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный… Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было

и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест… А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается… Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет… Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти… А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья, — да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, — он же ее не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

— Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя.

— Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули…

— С нами крестная сила! — шепнул Илья.

— Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего

всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли[5] водятся.

— Ну, что такое случилось? сказывай…

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек… Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили,

---

[5] Сноски: 5
По-орловскому: змеи. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, — что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки… Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша…»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быст-

ро удалялся… Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека… Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет… Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка… «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много, — отвечал Павел, — да

они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). — Да и собак тут нелегкая дернула залаять… А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч… Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон…

— Вишь какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил.

— Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья… — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала… только все как будто собачка этак залает, залает где-то… Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в од-

ной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет…

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает… А узнала его Ульяна… Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, — ах ты, господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился, — заметил Павел. — Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша, — промолвил Костя, — не

праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть, — проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное[6]?

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на́-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку[7] увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

---

[6] Сноски: 6

Так мужики называют у нас солнечное затмение. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

[7] Сноски: 7

В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Илюша. — Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский… ну, а сделать ему нельзя будет ничего… Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет.

Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дверную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе:

она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли…

Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее…

Костя вздрогнул. «Что это?»

— Это цапля кричит, — спокойно возразил Павел.

— Цапля, — повторил Костя… — А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, — прибавил он, помолчав немного, — ты, может быть, знаешь…

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью[8] выходит, — там ведь есть бучило[9]; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел

---

[8] Сноски: 8

Сугибель — крутой поворот в овраге. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

[9] Сноски: 9

Бучило — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у… у-у… у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал… Что бы это такое было? ась?

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, — заметил Павлуша, — так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза… — Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки… какие это… (Цапля опять прокричала над рекой.) Эк ее! — невольно произнес Костя, — словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой, — подхватил Ильюша, — он только в ладоши хлопает да трещит…

— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но

а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны… Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, окутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает…

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, — пфу!..

— И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел. — Не понимаю, право!

— Не бранись, смотри, услышит, — заметил Илья. Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на божьи звездочки, — что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что, твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова, — отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — что она к нам, отчего не хо-

дит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

— Куда ты? — спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри, не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду… А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор… Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят, — продолжал Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

— От того самого.

— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.

— Какого Васю? — спросил Федя.

— А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в

этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, Господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то все такую песенку певал, — вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалится…

— А вот Павлуша идет, — молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята, — начал он, помолчав, — нелад-но дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты, Господи! ах ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя… — А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде… Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, — в нем снова как будто разливалась сырость… Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы… Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Блед-

но-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света… Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун…

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

1852

Бирюк

Из цикла «Записки охотника»

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно

загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону, — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это? — спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза…

— Да, гроза, — отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдет, — продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, — отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин», — промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и, при свете молнии, увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка, лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину, — сказал он ей, — а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом, — сердце во мне заныло: невесело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна, — произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова, — прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замаш-

ной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу — Бирюк[10].

— А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок, как бес… И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Би-

[10] Сноски: 10

Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

рюке.

— Так ты Бирюк, — повторил я, — я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо, — даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет, — отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет… да… умерла, — прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

— Вы, чай, барин, — начал он, — нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба…

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету… Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой, — проговорила она, еще более понурив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит, — заметил он после небольшого молчанья, — коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалят… У Кобыльего Верху[11] дерево рубят, — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

---

[11] Сноски: 11

«*Верхом*» называется в Орловской губернии овраг. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии, но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во… вот, — проговорил он вдруг и протянул руку, — вишь, какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй, — прибавил он вслух, — и прозеваю его». — «Я с тобой пойду… хочешь?» — «Ладно, — отвечал он и попятил лошадь назад, — мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь, — бормотал он сквозь зубы, — слышите? слышите?» — «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновенье — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня

и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался…

— Повалил… — пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага. «Подождите здесь», — шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала… «Куда? стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи… Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь, — твердил, задыхаясь, Бирюк, — не уйдешь…» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не

говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его, — шепнул я на ухо Бирюку, — я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за челку левой рукой; правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите», — пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать?» — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади… Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил, — заметил лесник, — переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, — продолжал он, указывая на мужика, — да вишь, засов…

— Оставь его тут, не трогай, — перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутрен-

но дал себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены… Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу… дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич, — заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым, — а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти… с голодухи… отпусти.

— Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник, — ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти, — твердил мужик, — прикащик… разорены, во как… отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич… не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти, — повторял он с унылым отчая-

ньем, — отпусти, ей-богу отпусти! я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи… детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку, — продолжал мужик, — лошаденку-то, хоть ее-то… один живот и есть… отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того… отпусти!

— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился… Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну, на, ешь, на, подавись, на, — начал он, прищурив глаза и опустив углы губ, — на, душегубец окаянный, пей христианскую кровь, пей…»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник. — С ума сошел, что ли?

— Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

— Ах ты… да я тебя!..

— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай все: жена, дети — околевай все… А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей, — подхватил мужик свирепым голосом, — бей, на, на, бей… (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома, — закричал я. — Оставь его… бог с ним.

— Не стану я молчать, — продолжал несчастный. — Все едино околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету… Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо… Я бросился на помощь мужику…

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лес-

ник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своею лошадью! — закричал он ему вслед, — да смотри, в другой раз у меня…

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

— Ну, Бирюк, — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин, — перебил он меня с досадой, — не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он. — Знать, дождика-то вам не переждать…

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поплелся! — пробормотал он, — да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

1852

Лес и степь

Из цикла «Записки охотника»

…И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой…
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами.
И падает тяжелый желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо……

(Из поэмы, преданной сожжению.)

Читателю, может быть, уже наскучили мои

записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату… Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо… На темно-сером небе кое-где мигают звезды, влажный ветерок изредка набегает легкой волной, слышится сдержанный, неясный шепот ночи, деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега… Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину… Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко,

вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре… Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете… Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто… Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору… Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный

блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль… не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца… Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень… Вы поздоровались с ним, отошли — звучный лязг косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой… Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.

— Где бы, брат, тут напиться? — спрашиваете вы у косаря.

— А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага… что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния… Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело… Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай… скорее!.. Вы добежали, вошли… Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено… Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж

и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени… Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката… Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость… А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснеет… Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни… Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин…

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки

цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес… Лес глохнет… Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед…

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий

туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шуму…

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и

легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, — когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней…

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман… Но вот ветер слегка шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу — и вот опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день,

когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине…

Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом… Далее, далее!.. Пошли степные места.

Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она наконец — безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки…

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль… Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

1852

Антон Чехов

(1860–1904)

Егерь

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка… Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей… Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи лениво, вразвалку, плетется высокий узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи… Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым, жокейским козырьком, очевидно подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двустволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука… Все живое попряталось от зноя.

— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник ти-

хий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. — Гм!.. Как же это ты сюда попала?

— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими… В работницах, Егор Власыч.

— Тэк… — мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

— Давно уж я вас не видала, Егор Власыч… — говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. — Как заходили вы на Святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали… На Святой на минутку зашли, да и то бог знает как… в пьяном виде… Побранили, побили и ушли… Уж я ждала, ждала… глаза все проглядела, вас поджидаючи… Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

— Что ж мне у тебя делать-то?

— Оно, конечно, делать нечего, да так… все-таки

ж хозяйство… Поглядеть, как и что… Вы хозяин… Ишь ты, тетерьку подстрелили. Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули…

Говоря все это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора… От лица ее так и дышит счастьем…

— Посидеть? Пожалуй… — говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками. — Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

— Хоть бы разочек зашли, — говорит тихо Пелагея.

— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. — Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне — душа не терпит… Сама знаешь, человек я балованный… Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные… чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть… Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег,

или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

— Таперя вы где живете?

— У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так… из-за удовольствия меня держит.

— Не степенное ваше дело, Егор Власыч… Для людей это баловство, а у вас оно, словно как бы и ремесло… занятие настоящее…

— Не понимаешь ты, глупая, — говорит Егор, мечтательно глядя на небо. — Ты отродясь не понимала и век тебе не понять, что я за человек… По-твоему, я шальной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части… А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, то

прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егор Власыч.

— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься…

— Я… я не плачу… — говорит Пелагея, отворачиваясь. — Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а… а промеж нас ни разу любови не было!.. Я… я не плачу…

— Любови… — бормочет Егор, почесывая руку. — Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, не понимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь… Где же тут пара?

— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипывает Пелагея.

— Не волей венчаны… Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари… и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил… Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйти, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь… бейся об стену…

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

— Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

— Тэк…

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь…

— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили, — говорит Пелагея.

Егор молчит.

— Стало быть, она вам по сердцу…

— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охотник, потягиваясь. — Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался… К вечеру мне в Болтово поспеть нужно…

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

— А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо.

— Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный… Прощай!

— Прощайте, Егор Власыч…

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед… Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской… Взгляд ее бегает по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его… Он, словно чувствуя этот взгляд, останавливается и оглядывается… Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хо-

чет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

— На тебе! — говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

— Прощайте, Егор Власыч! — говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге… Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги невидимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но… вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу, и картузик исчезает в зелени.

— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать белый картузик.

1885

Владимир Короленко

(1853–1921)

Лес шумит

Полесская легенда

Было и быльем поросло.

I

Лес шумел…

В этом лесу всегда стоял шум — ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых игол, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие недвижимо, не шелохнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зеленые травы; белая кашка склонялась отяжелевшими

головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволов кое-где пробивался еще косой луч заката, но в чащах расползались уже мглистые сумерки. К вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; впору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щелкающему лесному эху. Он сам прибавлял шагу к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьется под нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою крышей приютилась под стеной красных стволов; она как будто врастает в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к

другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, по-видимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед все вспоминает что-то и не может припомнить.

— Здравствуй, дед! Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотает дед головой. — Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой… Корова куда-то ушла, — пожалуй, медведи… задрали… Вот оно как, нет никого!

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди, — кивает дед, и, пока я подвязываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят и руки трясутся.

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое свое посещение.

— Эге, знаю теперь, знаю, — говорит старик, принимаясь опять за лапоть. — Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно

умерли, помню, — ой, хорошо помню! А новых людей все забываю… Зажился на свете.

— А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу?

— Эге, давненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

— Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел… Шумит лес, шумит и днем, и ночью, зимою шумит и летом… И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил… Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет… Эге, вот как! Может, и вовсе не жил…

Край темной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

— Буря идет, — сказал он через минуту. — Это вот я знаю. Ой-ой, заревет ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. Заиграет лесной хозяин… — добавил он тише.

— Почему же ты знаешь, дед?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево го-

ворит… Дерево, хлопче, тоже боится… Вот осина, проклятое дерево, все что-то лопочет, — и ветру нет, а она трясется. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подымется ветер, она загудит и застонет. Это еще ничего… А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, ду́ба уже трогает на поляне… Это к буре.

Действительно, кучка невысоких коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищенных высокою стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них несся глухой шум, легко отличаемый от гулкого звона сосен.

— Эге! слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски-лукавою улыбкой. — Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, значит *хозяин* ночью пойдет, ломать будет… Да нет, не сломает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хозяину… вот как!

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

— Эге, я ж это знаю!.. Нынче говорят, такие люди пошли, что уже ничему и не верят. Вот оно как! А я же его видел, вот как тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как еще видели мои

глаза смолоду!..

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

— А вот, все равно, как и теперь: сначала сосна застонет на бору… То звенит, а то стонать начнет: о́-ох-хо-о́… о́-хо-о́! — и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много ее повалит хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру все больше, а ночью и пойдет крутить: бегает по лесу, смеется и плачет, вертится, пляшет и все на дуба́ налегает, все хочется вырвать… А я раз осенью и посмотрел в оконце: вот *ему* это и не по сердцу: подбежал к окну, тар-рах в него сосновою корягой; чуть мне все лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак — отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый!..

— А каков же он с виду?

— А с виду он все равно, как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож!.. И волосы — как сухая омела, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос — как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишаями… Тьфу, какой некрасивый! Не дай же бог ни одному крещеному на него походить… Ей-богу! Я таки в другой раз на болоте его видел, близко… А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь *его*. Взойди туда, на

гору, — лесом та гора поросла, — и полезай на самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной день и можно его увидать: идет он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается… Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадет. Эге!.. А где пройдет, там след белым снегом устилает… Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживленный и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высокому, изборожденному морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с таинственным видом:

— А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, лесной хозяин — мерзенная тварюка, это правда. Крещеному человеку обидно увидать такую некрасивую харю… Ну, только надо о нем правду сказать: он зла не делает… Пошутить с человеком пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, за-

чем я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела носа не совать, так и он такому человеку никакой пакости не сделает. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали… Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

— Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу бывальщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно… Помню я… ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и все вспоминаю… Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай!

— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II

У меня, знаешь, батько с матерью давно померли, я еще малым хлопчиком был… Покинули они меня на свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и думает: «Что же нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну, и пан тоже себе думает… И пришел на тот раз из лесу лесник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого

хлопца в сторожку, я его буду кормить… Мне в лесу веселее, и ему хлеб…» Вот он как говорит, а громада ему отвечает: «Бери!» Он и взял. Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому что всю жизнь этот человек в лесу один жил: медведь ему, люди говорили, все равно, что брат, а волк — племянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей сторонился и не глядел даже на них… Вот он какой был — ей-богу, правда! Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом поведет… Ну, а человек был все-таки добрый, кормил меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него с салом, а когда утку убьет, так и утка. Что правда, то уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоем. Роман в лес уйдет, а меня в сторожке запрет, чтобы зверюка не съела. А после дали ему «жинку» Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и говорит: «Вот что, говорит, Рома́сю, женись!» Говорит пану Роман сначала: «А на какого же мне биса жинка? Что мне в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопец есть? Не хочу я, говорит,

жениться!» Не привык он с девками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был… Как вспомню про этого пана, хлопче, то и подумаю себе, что теперь уже таких нету, — нету таких панов больше, — вывелись… Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты панского роду… Может, оно и правда, а таки нет в тебе этого… настоящего… Так себе, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тот настоящий был, из прежних… Вот, скажу тебе, такое на свете водится, что сотни людей одного человека боятся, да еще как!.. Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыпленка: оба из яйца вылупились, да ястреб сейчас вверх норовит, эге! Как крикнет в небе, так сейчас не то что цыплята — и старые петухи забе́гают… Вот же ястреб — панская птица, а курица — простая мужичка…

Вот, помню, я малым хлопчиком был: везут мужики из лесу толстые бревна, человек, может быть, тридцать. А пан один на своем конике едет да усы крутит. Конек под ним играет, а он кругом смотрит. Ой-ой! завидят мужики пана, то-то забегают, лошадей в снег сворачивают, сами шапки снимают. После сколько бьются, из снега бревна вывозят, а пан себе скачет, — вот ему, видишь ты, и одному на дороге тесно! Поведет пан бровью — уже мужики боятся, засмеется — и всем весело,

а нахмурится — все запечалятся. А чтобы кто пану мог перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Роман, известно, в лесу вырос, обращения не знал, и пан на него не очень сердился.

— Хочу, — говорит пан, — чтоб ты женился, а зачем, про то я сам знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я, — отвечал Роман, — не надо мне ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней черт женится, а не я… Вот как!

Велел пан принести канчуки, растянули Романа, пан его спрашивает:

— Будешь, Роман, жениться?

— Нет, — говорит, — не буду.

— Сыпьте ж ему, — говорит пан, — в мотню[12], сколько влезет.

Засыпали ему таки немало; Роман на что уж здоров был, а все ж ему надоело:

— Бросьте уж, — говорит, — будет-таки! Пускай же ее лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!

Жил на дворе у пана доезжачий Опанас Швидкий. Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе заохачивали. Услышал он про Рома-

---

[12] Сноски: 12

Хохлы носят холщовые штаны вроде мешка, раздвоенного только внизу. Этот-то мешок и называется мотнею. (*Прим. В. Г. Короленко.*)

нову беду — бух пану в ноги. Таки упал в ноги, целует…

— Чем, — говорит, — вам, милостивый пан, человека мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу…

Эге, сам таки захотел жениться на ней. Вот какой человек был, ей-богу!

Вот Роман было обрадовался, повеселел. Встал на ноги, завязал мотню и говорит:

— Вот, — говорит, — хорошо. Только что бы тебе, человече, пораньше немного приехать? Да и пан тоже — всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай ему сыпать! Разве, — говорит, — это по-христиански так делать? Тьфу!..

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подступайся, хотя бы и пан. Ну, а пан был хитрый! У него, видишь, другое на уме было. Велел опять Романа растянуть на траве.

— Я, — говорит, — тебе, дураку, счастья хочу, а ты нос воротишь. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и заехать к тебе не весело… Сыпьте ж ему, дураку, пока не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чертовой матери. Тебя, —

говорит, — к обеду не звали, так сам за стол не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебе как бы того же не было.

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют-таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели славно канчука́ми шкуру спускать, а он лежит себе и не говорит: довольно! Долго терпел, а все-таки после плюнул:

— Не дождет ее батько, чтоб из-за бабы христианину вот так сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтоб вам руки поотсыхали, бисова дворня! Научил же вас черт канчука́ми работать! Да я ж вам не сноп на току, чтоб меня вот так молотили. Коли так, так вот же, и женюсь.

А пан себе смеется.

— Вот, — говорит, — и хорошо! Теперь на свадьбе хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать будешь больше…

Веселый был пан, ей-богу, веселый, эге? Да только после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что думаю…

Вот так-то Романа и женили. Привез он молодую жинку в сторожку; сначала все ругал да попрекал своими канчука́ми.

— И сама ты, — говорит, — того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали.

Придет, бывало, из лесу и сейчас станет ее из избы гнать:

— Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю, — говорит, — когда у меня баба в избе спит. Дух, — говорит, — нехороший.

Эге!

Ну, а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит; блестит все, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба, — помаленьку и привык. Да и не только привык, хлопче, а стал ее любить, ей-богу, не лгу! Вот какое дело с Романом вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, потом и говорит:

— Вот спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж таки не умный был человек: сколько канчуков принял, а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Еще даже хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилось, а наутро проснулся я, слышу: кто-то тонким голосом «квили́т»[13].

---

[13] Сноски: 13

Квилит — плачет, жалобно пищит. (*Прим. В. Г. Короленко.*)

Эге! — думаю я себе, — это ж, видно, «дитына» родилась. А оно вправду так и было.

Недолго пожила дитына на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать перестала… Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

— Вот и нету дитыны, а когда ее нету, то незачем теперь и попа звать. Похороним под сосною.

Вот как говорит Роман, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пень стоит, громом его спалило… Так то ж и есть та самая сосна, где Роман дитыну зарыл. Знаешь, хлопче, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квилит пташина, аж сердцу больно! Так это и есть некрещеная душа, — креста себе просит. Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать, и не станет она больше летать… Да мы вот тут в лесу живем, ничего не знаем. Она летает, она просит, а мы только и говорим: «Геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную душу!

Вот выздоровела Оксана, все на могилку ходи-

ла. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, голос ее ходит. Это она так свою дитя́ну жалела, а Роман не жалел дитя́ну, а Оксану жалел. Придет, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

— Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чем плакать! Померла одна дитя́на, то, может, другая будет. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, может, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди говорят… А это будет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. Перестанет, бывало, плакать и начнет его нехорошими словами «лаять». Ну, Роман на нее не сердился.

— Да и что же ты, — спрашивает, — лаешься? Я же ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живешь, вот и хорошо. А таки говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитя́на поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне таки знать, скоро ли, или нескоро?..» Ну, а ты все же брось голосить, а то я осержусь, то еще, пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полает, полает его да и перестанет.

Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет, — боялась. Приласкает его, обоймет, поцелует и в очи заглянет… Вот мой Роман и угомонится. Потому… видишь ли, хлопче… Ты, должно быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а все-таки видал на своем веку: молодая баба дюже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой… Я же таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодица, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде.

Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тарата-та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу: птицы с гнезд подымаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит, что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный так хорошо кричит. А то же не зверь, а пан себе на конике лесом едет, да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует; шапка на Опанасе с

золотым верхом, конь под ним играет, рушни́ца за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что Опанас хорошо на бандуре играл и песни был мастер петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанас, страх красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза, хоть веселые, а все не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, как глянет на меня, — мне, малому хлопчику, и то смеяться хочется, а я же не девка. Говорили, что у Опанаса отцы и деды запорожские казаки были, в Сечи казаковали, а там народ был все гладкий да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой»[14] по полю птицей летать, или топором дерево рубить, это ж не одно дело…

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился, и доезжачие стали; Роман из избы вышел, подержал пану стремя: ступил пан на землю. Роман ему поклонился.

— Здорово! — говорит пан Роману.

— Эге, — отвечает Роман, — да я ж, спасибо, здоров, чего мне делается? А вы как?

Не умел, видишь ты, Роман пану как следует

---

[14] Сноски: 14

«*Списа*» — копье. (*Прим. В. Г. Короленко.*)

ответить. Дворня вся от его слов засмеялась, и пан тоже.

— Ну, и слава богу, что ты здоров, — говорит пан. — А где ж твоя жинка?

— Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате…

— Ну, мы и в хату войдем, — говорит пан, — а вы, хлопцы, пока на траве ковер постелите да приготовьте нам все, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить.

Вот и пошли в хату: пан, и Опанас, и Роман без шапки за ним, да еще Богдан — старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь тоже на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать, и жинка. Вот выносил Богдан паныча, и выходил, и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос панич, сам стал пановать, старый Богдан все за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людских слез

пало… все из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать…

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеется. Роман тут же топчется, шапку в руках мнет, а Опанас плечом об стенку уперся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогодку. Нахмурился, невесел…

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак середь ячменю. Ох, видно, чуяла небóга, что из-за нее лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уже если три человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра не бывает — непременно до чуба дело дойдет, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам видел.

— Ну, что, Ромáсю, — смеется пан, — хорошую ли я тебе жинку высватал?

— А что ж? — Роман отвечает. — Баба, как баба, ничего!

Повел тут плечом Опанас, поднял глаза на Ок-

сану и говорит про себя:

— Да, — говорит, — баба! Хоть бы и не такому дурню досталась.

Роман услыхал это слово, повернулся к Опанасу и говорит ему:

— А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня показался? Эге, скажите-ка!

— А тем, — говорит Опанас, — что не сумеешь жинку свою уберечь, тем и дурень…

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже ногою топнул, Богдан покачал головою, а Роман подумал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.

— А что ж мне ее беречь? — говорит Опанасу, а сам все на пана смотрит. — Здесь, кроме зверя, никакого черта и нету, вот разве милостивый пан когда завернет. От кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий казаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй таки, и дошло бы у них дело до потасовки, да пан вмешался: топнул ногой, — они и замолчали.

— Тише вы, — говорит, — бисовы дети! Мы же сюда не для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, к вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся пан и пошел из избы; а под деревом доезжачие уж и закуску сготовили. Пошел за паном Богдан, а Опанас остановил Романа в сенях.

— Не сердись ты на меня, бра́тику, — говорит казак. — Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человече… Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же мое сердце, чтоб лютый ворог опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе… Лучше же я и его, и ее из рушни́цы вместо постели уложу в сырую землю…

Посмотрел Роман на казака и спрашивает:

— А ты, казаче, часом, «с глузду не съехал»[15]?

Не слыхал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

— Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял!..

— Ну, — говорит ему Опанас, — ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом.

---

[15] Сноски: 15

«С глузду съехать» — сойти с ума. (*Прим. В. Г. Короленко.*)

Неумный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, прямиком пойдешь по лесу… Да поскорее сюда возвращайся.

— Добре, — говорит Роман. — Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медведя…

Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и потчевает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выпьешь — душа радуется, другую выпьешь — сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьет он из панских рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом черным поводит. Пан даже осердился.

— Вот же вражий сын, как здорово горелку

хлещет, а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, еще усмехается…

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек от горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.

— А с чего ж мне, — Роман ему отвечает, — плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы таки и начал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай лучше мои вороги плачут…

— Значит, — спрашивает пан, — ты доволен?

— Эге! А чем мне быть недовольным?

— А помнишь, как мы тебя канчука́ми сватали?

— Как-таки не помнить! Ото ж и говорю, что неумный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.

— Ладно, ладно, — пан ему говорит. — Зато и ты мне услужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.

— А когда ж это пан нас на болото посылает? — спрашивает Роман.

— Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да и с богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

— Вот уж это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще, вдобавок, и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?

А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро буря», — и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами, — все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

— Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, казацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый казак-бандурист с Украины. Там, хлопче, люди что-то нашумели в городе Умани.

Вот старому казаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот старик умер, — Опанас при дворе и вырос. Любил его новый пан тоже и терпел от него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он казака ударит, а после говорит Опанасу:

— Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули…

Вот он какую загадал загадку! А казак таки сразу и понял. И ответил казак пану песней. Ой, кабы и пан понял казацкую песню, то, может бы, его пани над ним не разливалась слезами.

— Спасибо, пане, за науку, — сказал Опанас, — вот же я тебе за то спою, а ты слушай.

И ударил по струнам бандуры.

Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гонят. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят…

И опять ударил по струнам бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему все и скажет: как темный бор в непогоду шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шепчет на высокой казацкой могиле.

Нет, хлопче, не услыхать уже вам настоящую игру! Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украйне: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня еще на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру, — а уж это скоро, — так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звона бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса негромкий, да «сумный»[16], — так, бывало, в сердце и льется. А песню, хлопче, казак, видно, сам для пана придумал. Не слыхал я ее

[16] Сноски: 16

Украинское слово сумный совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами «грустный» и «задумчивый». (*Прим. В. Г. Короленко.*)

никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он все не соглашался.

— Для кого, — говорит, — та песня пелась, того уже нету на свете.

В той песне казак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слезы у пана текут по усам, а все же ни слова, видно, из песни не понял.

— Ох, не помню я эту песню, помню только немного.

Пел казак про пана, про Ивана:

Ой пане, ой Иване!..

Умный пан, много знает…

Знает, что ястреб в небе летает, ворóн побивает…

Ой пане, ой Иване!..

А того ж пан не знает,

Как на свете бывает, —

Что у гнезда и ворóна ястреба побивает…

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит казак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого

локтями; старый Богдан головой качает… А лес, как теперь, шумит, и тихо да сумно звенит бандура, а казак поет, как пани плачет над паном, над Иваном:

Плачет пани, плачет,

А над паном, над Иваном черный ворон крячет.

Ох, не понял пан песни, вытер слезы и говорит:

— Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними, — будет уж мне твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поется, на свете не бывает.

А у казака от песни размякло сердце, затуманились очи.

— Ох, пане, пане, — говорит Опанас, — у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда — как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело… А в песне правда — как золото, что никогда его ржа не ест… Вот как говорят старые люди!

Махнул пан рукой.

— Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так… Ступай, ступай, Опанас, — надоело мне тебя слушать.

Постоял казак с минуту, а потом вдруг упал перед паном на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует.

Вот уж тут пан осердился, толкнул казака, как собаку, ногой.

— Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не казак, а баба! Иди ты от меня, а то как бы с тобой не было худо… А вы что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот я вам такое покажу, чего и ваши батьки от моих батькóв не видали!..

Встал Опанас на ноги, как темная туча, с Романом переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу облокотился как ни в чем не бывало.

Ударил казак бандурой об дерево, — бандура вдребезги разлетелась, только стон пошел от бандуры по лесу.

— А пускай же, — говорит, — черти на том свете учат такого человека, который разумную рáду не слушает… Тебе, пане, видно, верного слуги не надо.

Не успел пан ответить, вскочил Опанас в седло и поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул рушницу на плечи и пошел себе, только, проходя мимо сторожки, крикнул Оксане:

— Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да

и пану сготовь постелю.

Вот скоро и ушли все в лес вон по той дороге; и пан в хату ушел, только панский конь стоит себе, под деревом привязан. А уж и темнеть начало, по лесу шум идет, и дождик накрапывает, вот таки совсем, как теперь… Уложила меня Оксана на сеновале, перекрестила на ночь… Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то я тогда, малый хлопчик, не понимал, что кругом меня творится! Свернулся на сене, послушал, как буря в лесу песню заводит, и стал засыпать.

Эге! Вдруг слышу, кто-то около сторожки ходит… подошел к дереву, панского коня отвязал. Захрапел конь, ударил копытом; как пустится в лес, скоро и топот затих… Потом слышу, опять кто-то по дороге скачет, уже к сторожке. Подскакал вплоть, соскочил с седла на землю и прямо к окну:

— Пане, пане! — кричит голосом старого Богдана. — Ой, пане, отвори скорей! Вражий казак лихо задумал, видно: твоего коня в лес отпустил.

Не успел старик договорить, кто-то его сзади схватил. Испугался я, слышу — что-то упало…

Отворил пан двери, с рушницей выскочил, а уж в сенях Роман его захватил, да прямо за чуб,

да об землю…

Вот видит пан, что ему лихо, и говорит:

— Ой, отпусти, Рома́сю! Так-то ты мое добро помнишь?

А Роман ему отвечает:

— Помню я, вражий пане, твое добро и до меня, и до моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу…

А пан говорит опять:

— Заступись, Опанас, мой верный слуга! Я ж тебя любил, как родного сына.

А Опанас ему отвечает:

— Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так любишь, как спина палку… Я ж тебя просил и молил, — ты не послушался…

Вот стал пан тут и Оксану просить:

— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбежала Оксана, всплеснула руками:

— Я же тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалел, а теперь сам просишь… Ох, лишенько мне, что же я сделаю?

— Пустите, — кричит опять пан, — за меня вы все погибнете в Сибири…

— Не печалься за нас, пане, — говорит Опа-

нас. — Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по твоей милости, один на свете, мне о своей голове думать недолго. Вскину рушницу за плечи и пойду себе в лес… Наберу проворных хлопцев и будем гулять… Из лесу станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредем, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Рома́сю, пана, вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит про себя, как медведь, а казак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена…

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер воет, а когда и гром полыхнет. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет…

— Оксано, — говорю, — голу́бонько, а кто ж это там в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает:

— Спи, — говорит, — хлопчику, ничего! Это так… лес шумит…

А лес и вправду шумел, ох, и шумел же!

Просидели мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу будто из рушницы.

— Оксано, — говорю, — голубонько, а кто ж это из рушницы стреляет?

А она, небóга, все меня качает и все говорит:

— Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил в лесу.

А сама все плачет и меня крепко к груди прижимает, баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит…»

Вот я лежал у нее на руках и заснул…

А наутро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было направду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу пташки щебечут, и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и у доезжачего кровь.

……..

……

……

.....

— Ну, а что же случилось с другими? — спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал казак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам да по панским усадьбам. Такая казаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил, — всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож, хотя они уже тем людям не сыны, а внуки... Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу...

А шумит же лес крепко, — будет буря!

III

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и

теперь сказывалось утомлением: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расходившееся море; темные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Веселый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хате; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала «вечéрять».

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особенным интересом. Лицо Захара было темно, брови срослись над крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

— А чи не рассказывал вам старик, — спросил Максим, — старую бывальщину про нашего

деда?

— Да, рассказывал, — отвечал я.

— Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснет.

— Совсем мала дитына, — добавила Мотря, наливая старику щей.

Старик как будто не понимал, что речь идет именно о нем. Он совсем опустился, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налетал на избушку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскоре в лесной избушке все смолкло. Тускло светил угасающий *каганец*[17], да сверчок звонил свою однообразно-крикливую песню… А в лесу, казалось, шел говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чем-то грозно перекликавшихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведет там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить на жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно

---

[17] Сноски: 17

Каганец — черепок, в который наливают сало и кладут светильню. (*Прим. В. Г. Короленко.*)

кто-то, сердито шипя, напирает на нее снаружи, а в трубе ночная вьюга с жалобною угрозой выводила за сердце хватающую ноту. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны сговаривались сняться вдруг с своих мест и улететь в неведомое пространство вместе с размахами ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой, но, кажется, ненадолго. Буря выла в лесу на разные голоса и тоны. Каганéц вспыхивал по временам, освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то поблизости. Выражение испуга и почти детской беспомощности виднелось на лице бедного деда.

— Оксано, голýбонько, — расслышал я его жалобный ропот, — а кто ж это там в лесу стонет?

Он тревожно пошарил рукой и прислушался.

— Эге! — говорил он опять, — никто не стонет. То буря в лесу шумит… Больше ничего, лес шумит, шумит…

Прошло еще несколько минут. В маленькие окна то и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие деревья вспыхивали за окном призрачными очертаниями и опять исчезали во

тьме среди сердитого ворчания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил бледные вспышки каганцá, и по лесу раскатился отрывистый недалекий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

— Оксано, голубонько, а кто ж это в лесу стреляет?

— Спи, старик, спи, — послышался с печки спокойный голос Мотри. — Вот всегда так: в бурю по ночам все Оксану зовет. И забыл, что Оксана уж давно на том свете. Ох-хо!

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять в избушке настала тишина, прерываемая лишь шумом леса да тревожным бормотанием деда:

— Лес шумит, лес шумит… Оксано, голубонько…

Вскоре ударил тяжелый ливень, покрывая шумом дождевых потоков и порывания ветра, и стоны соснового бора…

1885

Дмитрий Мамин-Сибиряк

(1852–1912)

В глуши

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением одного священника, жившего в Боровском заводе, до которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фамилия — Шалаевы. Собственно, даже фамилии не было, а только прозвище по деревне.

— Как же я вас буду в книге записывать? — говорил священник.

— Вот в нынешнем году три Ивана Шалаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в прошлом году было то же самое с Матренами, — две Матрены умерли и две Матрены родились! Всех перепутаешь как раз.

— Уж так с испокон веку, — объяснял староста, — все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозывался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, значит. От начальства

тоже прижимки бывают… Как-то лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших парней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Иванычи. Воинский начальник даже обиделся…

— Надо бы все-таки фамилии придумывать, — советовал священник. — Оно для вас же удобнее. — А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу с испокон веку и друг дружку знаем… А покойников на том свете господь-батюшка разберет и без нас, кто чего стоит.

Издали Шалайка была очень красива, особенно если смотреть с реки, — избы стояли на самом солнцепеке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, — благо лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям[18] или по мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.

---

[18] Сноски: 18

Елани — широкие поляны в лесу. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно видеть разлив реки Чусовой верст на пять.

Сейчас за рекой шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно деревня стояла на краю света.

Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом с такими слезами, каких, вероятно, не проливают рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было подумать, что только и можно было жить на белом свете, как в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми.

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. — О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил… Невелика радость!

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу.

Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку?

Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а с женатыми братьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все, рассказывал даже лучше баушки[19] Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников оставалось всего двое: отец Егор да второй брат Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог идти за работника, потому что жил больше в лесу и домой редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать, Авдотья, управлялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не совсем умом». С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень[20], и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли

---

[19] Сноски: 19

На Урале вместо «бабушка» говорят «баушка», вместо «девушка» — «деушка». (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

[20] Сноски: 20

Курень — место выжига угля в лесу. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. С тех пор Домна стала «не совсем умом». Все молчит, что ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, а так — все равно что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет…

Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась такой страшной. Все говорили, что она видела «лешака» и что он пугал ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, но те — совсем малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Егор принял его работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавлялись бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле? Пимка

тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?

— Погоди, твое время еще впереди, Пимка… Успеешь и в курене наработаться, дай срок.

И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило немного только одно, — в лесу «блазнит»[21], как поблазнило Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки пошаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе лешак совсем было задушил. Еще страшнее была лешачиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и большие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепалась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила подкарауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, когда они выходили купаться в Чусовой, и утаскивала их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте,

---

[21] Сноски: 21

Блазнит — кажется (местное уральское слово). (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

всего с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни лешачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.

— Пустые слова это старухи болтают, Пимка, — коротко объяснял он. — А ты, главное, ничего не бойся… ни-ни! И никогда тебе страшно не будет… Понимаешь ты это самое дело?

— А ежели лешачиха за ногу сцапает? — спрашивал Пимка.

— Не сцапает… А ежели что — ты ее в морду. И лешак тоже пустое дело… Он ухнет, а ты еще пуще ухни. Он ребенком заплачет, а ты опять ухни… Хорошо ему баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет страшно.

Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил» в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора. Пимка, лежа на

полатях, любил послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастаться своей удалью и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои подвиги, пока брат Егор не останавливал его:

— Будет тебе врать, Акинтич… Как раз подавишься.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то мудреные места, куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет, — объяснял он Пимке. — И все покупают, что ни привези… И

лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

II

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:

— Ну, Пимка, собирайся в курень… Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был и рад, но и побаивался. В курене, — конечно, лешачихи не было, а зато были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, из собачьего меха ягу[22], пимы, собачьи шубенки[23], такой же треух-шапку — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, — недели по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно

---

[22] Сноски: 22
Яга — шуба шерстью наружу. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

[23] Сноски: 23
Шубенки — рукавицы. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня в Боровский завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах всплакнула.

— Ты смотри, Пимка, не застудись… В балагане[24] будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка! — весело отвечал Пимка. — Я с Акинтичем буду жить, а он все знает… Мы еще медведя с ним залобуем[25].

— Ладно… Вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим, — объяснял отец. — Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить… Так, Пимка? Дед тебе обрадуется… Старый да малый — будете жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе,

---

[24] Сноски: 24

Балаган — широкая низкая изба, вросшая в землю, крытая дерном, без окон, с очагом из камней вместо печи, с земляным полом. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

[25] Сноски: 25

Залобовать — убить. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

сплетенном дедушкой Титом из черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности. Мужикам — топорища, бабам — корыта и вальки — все нужно. Лес только еще был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след… Видишь, какие петли наделал по снежку. Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла… Эта, как барыня, идет и след хвостом заметает.

В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:

— Волчья стая прошла… Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного… Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь…

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно ко-

ровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел… Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать… Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать… Пусть по следу его ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучонками», то есть кучами из длинных дров, обложенных сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит. Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я… Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай…

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из камней железным

котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь, — говорил он. — Что, озяб? Погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собой большую низкую избу, без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери в углу был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыму. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощение? — шутил Акинтич. — А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке…

Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник, — галдели набравшиеся в балаган мужики. — Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый

работник…

Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в курных балаганах походили на трубочистов. Все равно, мойся не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, как кто мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать, — шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. — Вот мы тут зеленого пуху настелем, — спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики. — Это он намерзся дорогой-то да прямо в тепло и попал, ну и разомлел…

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас — все тепло уходило частью кверху в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.

Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной сажен до трех. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее, не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой «жигаль», который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и

тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем не рисковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные, — до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь

горячее на придачу, большей частью — каша. Где же мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь только, — ворчал солдат Акинтич, отвыкший за все время своей солдатчины от тяжелой куренной работы. — Брошу все и уйду куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани. Весь точно из трубы сейчас вылез.

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню; поехал, значит, и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку «на обыденку», но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сделать верст шестьдесят, да еще плохой лесной дорогой. В праздник работать грешно, и все убивали время как-нибудь. Сидеть

днем по темным балаганам было тошно, и все собирались «на улицу». Разведут громадный костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказать разную побывальщинку.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат, — упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видали, вот вам и кажется, что все удивительно… Возьмите теперь хоть пароход — во какая махинища! Народу на нем едет человек с тыщу, а он еще за собой не одну барку волокет. Всю Шалайку свезет зараз… А то теперь чугунка. Ну, эта еще помудренее: как свистнет, — и полетела. Тоже волокет народу видимо-невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошечко поглядываешь, тоже как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свистнула, — значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунку, — в один бы час с куреня махнули туда, а теперь вы с углем ползете все шесть часов, да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь!..

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные мужики иногда для шутки начинали высмеивать солдата:

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился, и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить… Уйду в город и поступлю дворником к купцу. Работа самая легкая: подмел двор, принес дров, почистил лошадь — вот и все. В баню хоть каждый день ходи… Одежа на тебе вся чистая, а еды до отвалу. Щи подадут — жиру не продуешь; кашу подадут — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. А главное дело — чай… Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая… китайская…

— Может, крупы там или говядины прибав-

ляют?

— Ах ты, боже мой… И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ… Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, куда вам… Тоже вот взять лампу, — вы и не видывали, а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазим называется, ну, фитилек спущен, по-вашему — светильня; ну, сейчас спичкой — и огонь! А главная причина, можно свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной… Поняли теперь?

— Грешно это все… — говорил дедушка Тит. — Напьюсь это я твоего чаю, наемся штей да каши, поеду на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка, — говорил солдат. — Есть каменный уголь. Из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат. Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легко-

мыслие, а главным образом за то, что избаловался он на службе и очень уж любил про легкую жизнь рассказывать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, што в городе все трубки курят да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врет он все… — не верил дед. — Грешно и слушать-то. Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что Бог-то труды любит. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-своему, потому и гнездо надо устроить и своих детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка, — объяснял солдат. — Только там работа чище вашей… Не меньше нас работают, а может, и побольше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситцы, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед. — Раньше без ситцев жили, а сукно бабы дома ткали. Все это пустое. Главный же мастер все-таки мужичок,

который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое. Баловство…

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть. Может быть, солдат-то и не врет. Вон он рассказывает, что есть места, где зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом с хорошую баню будет. Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный мороз, и даже собаки забились в балаганы. Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчанье на зверя и свое — на человека; теперь он ворчал на человека. Скоро послышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел партию вместо Шалайки на курень. Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил набольшего в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. В лучшем виде все оборудуем для вас. Сейчас

огонек разведем, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря, точно все они пришли чуть не с того света. Потом его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся.

Набольший барин все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в балагане было покрыто сажей, и на дымившийся очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым, — наговаривал Акинтич, — и опять, того, страшенный мороз… Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие… В Москве бывал. Да… А здесь, уж извините, одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то есть съел несколько листочков и убедился, что солдат все врал. Ничего сладкого, а так, трава как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее уже повел Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается… — ворчал дедушка Тит, качая головой. — Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане холодно, и вода в котелке чем-то воняет, и собаки ночью лаяли, — всем недоволен. Пимка стоял с разинутым ртом и все боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако все прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так. Все куренные сбились в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил, — говорил отец Пимки, почесывая в затылке. — Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит. — Так, баловство одно, а может, и грешно… Ох, помирать, видно, пора!

— Подведет нас всех солдат! Не надо его было пущать с набольшим-то, а то мастер наш солдат

зубы заговаривать…

Ровно через три года немного пониже Шалайки через Чусовую железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У него теперь была и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив.

Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки.

Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил в курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зеленым флагом в руках, и наконец сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здравия желаем!!!

1885

Александр Куприн

(1870–1938)

Олеся

Повесть

I

Мой слуга, повар и спутник по охоте — полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паныч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет… не можно… слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур… Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать.

Я поехал даже с радостью. «Полесье… глушь… лоно природы… простые нравы… первобытные натуры, — думал я, сидя в вагоне, — совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком… и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказывать) уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но… или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, — отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было обозначать: «Помогай бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки — хотя это сначала казалось мне неприятным — я сделал попытку позна-

комиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в серéдине болит» и «ни есть, ни пить не можу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка… оставь… я не поп… мне этого не полагается… Что у тебя болит?»

— В серéдине у меня болит, панычу, в самой, что ни на есть, серéдине, так что даже ни пить, ни есть не можу.

— Давно это у тебя сделалось?

— А я знаю? — отвечает она также вопросом. — Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не можу.

И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

— Да вы не беспокойтесь, — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, — сами вылечатся. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» — «Я, говорит, больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!» Нюхает... «Что, легче?» — «Як будто полегшало...» — «Ну, так и ступай с богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало

невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так… Нет, нет… не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. — Мне бы только мое фамилие…

— Зачем это тебе? — удивился я… (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброде; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

— А видите, какое дело, паныч, — ответил Ярмола необыкновенно мягко, — ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда гумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что… никто не может… Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано… То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, — такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, — этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое, худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду

и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола, — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну говори — «ма»…

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

— Нет… не могу…

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет… не могу, паныч… забыл…

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрашивал он меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается

до имени, то его, ввиду облегчения задачи, мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорил я.

Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просовывал между своими черными, закорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл… — досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю… — оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу… сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу, — говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневели старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый,

озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой…

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычанья. Порою бог весть откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло

светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора… И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола, — странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая

голову. — А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдруг Ярмола. — Это я вам скажу, — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

— Ведьмака — это колдунья по-вашему?

— А так, так… колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать, — думал я, — может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

— Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? — спросил я.

— Не знаю… Может, есть, — ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. — Старые люди говорят, что были когда-то… Может, и неправда…

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей

печке:

— Была у нас лет пять тому назад такая ведьма… Только ее хлопцы с села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Известно, в лес… Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось… А саму ее вывели за вышницы и по шее.

— За что же так с ней обошлись?

— Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите… Один раз просила она у нашей молодицы злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злотого не дала…» И что же вы думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят…

— Ну, а где же теперь эта ведьмака? — продолжал я любопытствовать.

— Ведьмака? — медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. — А я знаю?

— Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

— Нет, не осталось. Да она чужая была, из каца-

пок чи из цыганов… Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка… Обеих прогнали…

— А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ярмола.

— Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

— Я не знаю… Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет… Знаете — болото, что́ за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясьця ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома… настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я к полесовщику, — а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

— Тьфу! — сплюнул с негодованием Ярмола. — Вот еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он

даже вскочил с полу.

— Я?! — воскликнул он с негодованием. — А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду.

— Ну вот, глупости, пойдешь.

— Нет, панычу, не пойду… ни за что не пойду… Чтобы я?! — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня бог боронит. И вам не советую, паныч.

— Как хочешь… а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

— Как зовут эту ведьму?

— Мануйлиха, — ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил

его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку — Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

— Нужно ружья почистить, паныч.

— А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом.

— Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными

в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

— Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ярмола. — Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите… — Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить… — Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы — нежилой, развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холод-

ный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня…

Вдруг, далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика, — характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У — бый! У — бый!», первый слог — протяжным резким фальцетом, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стреми-

тельно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

— Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? — крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

— Да ведь далеко было… больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего… Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, — он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, — подумал я. — Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего

весною весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

— Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это — Мануйлиха, ириновская ведьма», — мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот бес-

престанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели точно глаза невиданной зловещей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказал я как можно приветливее. — Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую, обрывающуюся фистулу:

— Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди… А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

— Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

— Нет молока, — сердито отрезала старуха. — Много вас по лесу ходит… Всех не напоишь, не накормишь…

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто

тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот…

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришлая в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха… А кто такой — неведомо… Лета-то мои не маленькие… Ногами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока…»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною — сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Бóльшую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образóв в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и

портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

— Бабушка, а воды-то у вас по крайней мере можно напиться? — спросил я, возвышая голос.

— А вон, в кадке, — кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди… Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку… Ступай, батюшка, ступай…

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше,

и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, — поддразнил я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

— Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. — Никому я не ворожу теперь, касатик… Забыла… Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

— Сыми-ка… Левой ручкой сыми… От сердца…

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

— Позолоти, барин хороший… Счастлив будешь,

богат будешь… — запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

— Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, — начала она привычной скороговоркой. — Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь… Не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то…

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи ни цвит
Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

— Ну иди, иди теперь, соколик, — тревожно

засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. — Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел…

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, — воскликнула она, громко смеясь, — посмотри, какие смешные… Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

— Вот барин зашел… Пытает дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка, — с решительным видом обернулась она ко мне, — будет тебе прохлаждаться. Напился водицы, поговорил, да пора

и честь знать. Мы тебе не компания…

— Послушай, красавица, — сказал я девушке. — Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

— Это у тебя все ручные птицы? — спросил я, догоняя девушку.

— Ручные, — ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. — Ну вот, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

— Вижу…

— Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего

на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати — двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было даже привыкнуть к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? — спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни… Снегом вас занести может, пожар может случиться… И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

— И слава богу! — махнула она пренебрежи-

тельно рукой. — Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то…

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрезала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить.

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный, словом, я никакое начальство.

— Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто, приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснялось.

— Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

— Да я и сам не знаю, как тебе сказать… Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно — заблудился… Ну, а теперь скажи, чего вы людей

боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

— Плохо нам от них приходится… Простые люди еще ничего, а вот начальство… Приедет урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница… Эх! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество…

— Не трогают… Один раз сунулся ко мне землемер какой-то… Поласкаться ему, видишь, захотелось… Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, — с тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы разве трогаем кого-нибудь! — про-

должала она, проникаясь ко мне все большим доверием. — Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли… Да вот еще бабушке чаю, — чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

— Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете… А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и — как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

— Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные… Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что… вы уж, если когда к нам забредете, так без ружья лучше…

— Ты боишься?

— Чего мне бояться? Ничего я не боюсь, — и в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. — А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже. Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие… Ну, однако, до свидания, — заторопилась она, — не знаю, как величать-то вас по имени… Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив

вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

— Постой, постой! — крикнул я. — Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

— Аленой меня зовут… По-здешнему — Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно-белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

— Там… я зайца на кухню занес… жарить будем или пошлете кому-нибудь?

— А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? — сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

— Отчего же мне не знать? — грубо проворчал Ярмола. — Известно, к ведьмакам ходили…

— Как же ты узнал это?

— А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след… Эх, паны-ыч! — прибавил он с укоризненной досадой. — Не следовает вам такими делами заниматься… Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового

материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, — тем свежим, вкрадчивым и могучим, пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, — поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая, спешная творческая работа природы…

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос с неожиданными низкими бархатными нотками… «Во всех ее движениях, в ее словах, — думал я, — есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно

пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности — эта гордая уверенность в своих силах, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахару.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилось по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

— Здравствуй, бабуся! — сказал я громким, бодрым голосом. — Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка, — зашамкала старуха, недовольно тряся головой, — ничего не помню. И что ты у нас позабыл, — никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые… Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись… так-то…

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

— Не бойся, бабка, — сказала она примирительно, — это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, — прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

— Какая же ты сердитая, бабуся… Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, — сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

— Никаких мне твоих гостинцев не нужно, — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. — Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то? — вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и, хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но в сущности требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

— А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала, — произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: — Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

— Да, гадала. А что?

— Да так себе… Просто спрашиваю… А вы верите? — кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

— Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

— Нет, вообще…

— Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почем знать? Говорят, бывают случаи… Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес… Я и позабыл даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости… Куда ж ей? Да и

опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

— Чего же она боится?

— Известно чего, — начальства боится… Урядник приедет, так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без сроку, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

— Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно… Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

— Гадаю… Только не за деньги, — добавила она поспешно.

— Может быть, ты и мне кинешь карты?

— Нет, — тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после… Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

— Нет. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать… Почему ты не

согласна?

— Потому что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя…

— Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

— Нет, нет, нельзя… нельзя… — зашептала она с суеверным страхом. — Судьбу нельзя два раза пытать… Не годится… Она узнает, подслушает… Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

— Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? — попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

— Нет… Лучше не надо, — сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение. — Пожалуйста, не просите… Нехорошо вам вышло… Не просите лучше…

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне

стало как-то не по себе, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, — согласилась наконец Олеся. — Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый… Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также… Ну да все равно, говорить, так уж все по порядку… До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла… Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богатым никогда не будете… Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы… Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите… Такое у вас дело одно выйдет… Но только не посмеете, так снесете… Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через

смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году… Я не знаю, уж когда именно, — карты говорят, что очень скоро… Может быть, даже и в этом месяце…

— Что же случится в этом году? — спросил я, когда она опять остановилась.

— Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами…

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

— Что вы смотрите? — покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. — Ну да, вроде моих, — продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

— Так ты говоришь — большая трефовая любовь? — пошутил я.

— Не смейтесь, не надо смеяться, — серьезно, почти строго заметила Олеся. — Я вам все только правду говорю.

— Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

— Дальше… Ох! Нехорошо выходит этой тре-

фовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит… А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

— Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, — не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется… Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

— И карты… Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.

— Что же ты видишь у него в лице?

— Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг сделается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только

за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые Святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевельнуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое… Глаза закрыты, а губы черные… Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести… Всю ночь его били… Злой у нас народ здесь, безжалостный… В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон.

— Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

— А зачем говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился… Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь… Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать — это не от нас… это в

нашей крови так.

Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне: — Может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим… Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой…

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся в свою очередь попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника — похлебки из гречневой крупы с салом, луком,

картофелем и курицей — чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

— Хотите, я вас провожу немножко? — предложила Олеся.

— Какие такие проводы еще выдумала! — сердито прошамкала старуха. — Не сидится тебе на месте, стрекоза…

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая… я только на минуточку, сейчас и назад.

— Ну ладно, уж ладно, верченая, — слабо от-

бивалась от нее старуха. — Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» — первого цветка Полесья.

— Послушай, Олеся, — начал я, — мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься… Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка… как бы это выразиться?..

— Колдунья? — спокойно помогла мне Олеся.

— Нет… Не колдунья… — замялся я. — Ну да, если хочешь — колдунья… Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

— Нет, отчего же, — отозвалась она просто, — что ж тут неприятного? Да она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может

делать того, что делала раньше.

— Что же она умела делать? — полюбопытствовал я.

— Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала… да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

— Значит, ты твердо веришь колдовству?

— Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары… Я и сама многое умею.

— Олеся, голубушка… Если бы ты знала, как мне это интересно… Неужели ты мне ничего не покажешь?

— Отчего же, покажу, если хотите, — с готовностью согласилась Олеся. — Сейчас желаете?

— Да, если можно, сейчас.

— А бояться не будете?

— Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся

бы, а теперь еще светло.

— Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

— Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

— А вот сейчас… Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

— Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то

на пораненном месте осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно с вас? — с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. — Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

— Что бы вам такое показать? — задумалась она. — Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге… Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

— А это не будет страшно? — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

— Нет, нет… Пустяки… Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

— Идите, идите! — закричала Олеся. — Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет… Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладо-

ши.

— Ну что? Довольны? — крикнула она, сверкая своими белыми зубами. — Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

— Как ты это сделала? — с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. — Это не секрет?

— Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете… Не сумею я объяснить…

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать, отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть… Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал

отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

— О! Я еще много чего умею, — самоуверенно заявила Олеся. — Например, я могу нагнать на вас страх.

— Что это значит?

— Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

— Ну, уж это совсем просто, — усомнился я. — Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О, нет, нет… Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду… Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату… Вы сидите где-нибудь… ну, хоть у стола… я подкрадываюсь

к вам сзади тихонько… вы меня не слышите… я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить… все крепче, крепче, крепче… а сама гляжу на вас… вот так — смотрите…

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы — работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

— Ну полно, полно, Олеся… будет, — сказал я с деланым смехом. — Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься — тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

— Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не видавши… Читать ты, конечно, тоже много не могла…

— Да я вовсе не умею и читать-то.

— Ну, тем более… А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спра-

шиваю?

— Да, понимаю. Это все от бабушки… Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет… Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

— Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю… Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше… Ну, однако, мне пора, — заторопилась Олеся, — бабушка будет сердиться. До свиданья… Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

— Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя

под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах… Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли… Я не сумею тебе этого рассказать… Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь… Вы хоть как-нибудь скажите… хоть и непонят-

но…

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и, если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем заике, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижной ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

— Что такое Петербург? Местечко?

— Нет, это не местечко; это самый большой русский город.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? — пристала она ко мне.

— Ну да… Там все главное начальство живет… господа большие… Домá там все каменные, деревянных нет.

— Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? — уверенно спросила Олеся.

— О, да… немножко побольше… так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей Степани.

— Ах, боже мой! Какие же это дома? — почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

— Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

— Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, — сказала Олеся, покачав головой. — Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бранятся… И такая меня тоска возьмет за лесом, — так бы бросила все и без оглядки побежала… Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

— Ну, а если твой муж будет из города? — спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

— Вот еще! — сказала она с пренебрежением. — Никакого мне мужа не надо.

— Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, — полюбишь — тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

— Ах, нет, нет… пожалуйста, не будем об этом, — досадливо отмахивалась она. — Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

— Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты — такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зароков будет.

— Ну что ж — и полюблю! — сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. — Спрашиваться ни у кого не буду…

— Стало быть, и замуж пойдешь, — поддразнил я.

— Это вы, может быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь… Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец…

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нет, голубчик… Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили… Нам в церковь и заходить-то нельзя…

— Все из-за колдовства вашего?

— Да, из-за нашего колдовства, — со спокойной серьезностью ответила Олеся. — Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана *ему*.

— Олеся… Милая… Поверь мне, что ты сама себя обманываешь… Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

— Нет, нет… Вы этого не можете понять, а я это чувствую… Вот здесь, — она крепко притиснула руку к груди, — в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не *он*? Разве может простой

человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от *него* идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, — Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала мне мои доказательства и объяснения… «Ну хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, подарю, — говорила она, возвышая голос в увлечении спора, — а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь, как величайшая тайна, из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие, в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске…

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испор-

тились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в *его* лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

— Куда там! Пустое это дело, паныч, — говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда: «Нема часу, паныч… нужно пашню сегодня орать», — чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг

Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом… Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы креп-

ко прикусили нижнюю губу.

— Нет… что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом. — Все как было, так и осталось.

— Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны… А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

— Право же, ничего нет… Так… свои заботы… пустячные…

— Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри — ты сама на себя непохожа сделалась.

— Это вам так кажется только.

— Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам… Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

— Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, — с нетерпением возразила Олеся. — Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, — повер-

нулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

— Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, — говорила Мануйлиха, — а потом и пошел, и пошел. «Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застану тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск… У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, господи, несчастье мое!

— Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я.

— Да вот поди ж ты… Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом…

— Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом… Мужики на тебя рассердились…

— Ну вот, вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

— Бабушка, а может быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

— Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история… Четвертной билет давала, не берет… Куд-да тебе! Так на меня вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хоть бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

— Чего там — бабушка! — рассердилась старуха. — Я тебе уже двадцать пятый год — бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды

было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

— Есть врядник, — проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение

имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Говорю, что врядник приехал, — повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. — Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарахтение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли, — другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

— Мое почтение, Евпсихий Африканович! — крикнул я, высовываясь из окошка.

— А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? — отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

— Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело — утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланым равнодушием:

— Жаль, жаль… А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек…

— Не могу-с. Долг службы…

— Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе как детей родных воспитывал… Зашли бы… А я вашему коньку овса прикажу дать.

— Ведь вот вы какой, право, — с упреком сказал урядник. — Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки-то? Сливянка?

— Какое сливянка! — махнул я рукой. — Старка, батюшка, вот что!

— Мы, признаться, уж подзакусили, — с сожалением почесал щеку урядник, невероятно

сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

— Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах — прямо как коньяк и самой янтарной желтизны.

— Эх! Что вы со мной делаете! — воскликнул в комическом отчаянии урядник. — Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет… Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната (Евпсихий Африканович, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания…). И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

— Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? — спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и от-

чаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я, наконец, замолчал, он только спросил:

— Ну, так чего же вы от меня хотите?

— Как чего? — заволновался я. — Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, беззащитный женщины…

— И одна из них прямо бутон садовый! — ехидно вставил урядник.

— Ну уж там бутон или не бутон — это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

— Как чем я рискую-с?! — взвился с кресла урядник. — Помилуйте, да всем рискую, и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть,

каверзник-с… из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расходившегося урядника.

— Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец, что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю! — протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. — Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович. Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так… Ну хоть по человечеству…

— По че-ло-ве-че-ству? — иронически отчеканил он каждый слог. — Извольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

— Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

— Ни капельки не слишком-с. «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

— Нет, не приходилось.

— И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться…

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

— Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия…» Позвольте узнать, ходит ли эта… как ее… Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

— Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования…»

Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? Я. Кого из службы по шапке? Меня. Видите, какая штукенция.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович, — начал я опять умильным тоном. — Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

— Хорошенькое у вас ружьишко, — небрежно уронил он, не переставая барабанить. — Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался… Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

— Да, ружье недурное, — похвалил я. — Ведь

оно старинное, фабрики Гастин-Реннет, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

— Как же-с, как же-с… я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь… Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

— У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, — сказал я любезно. — Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

— Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье по крайней мере перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович

встал и заторопился ехать.

— Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, — говорил он, громко стуча о пол неналезавшими калошами. — Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

— Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? — деликатно напомнил я.

— Посмотрим, увидим… — неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. — Я вот вас еще о чем хотел попросить… Редис у вас замечательный…

— Сам вырастил.

— Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того… пучочек один.

— С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом… Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно… Масло у меня на редкость.

— Ну, и маслица… — милостиво разрешил урядник. — А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, — вдруг возвысил он голос, — что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек

и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого, важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

IX

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность… С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на

пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой… Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды, — она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня

каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, — все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, — точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось

зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаясь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому… Ровно шесть дней била меня неотступная, ужасная полесская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь приливала горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно-пестрые сновидения начинали играть

моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелочных, микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий — порою красивых, добрых и улыбающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой, противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы

и не позволяет мне прервать давно уже опротивевшего спора…

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами… Но — странное дело — в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался, или, вернее, не просыпался, а внезапно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной зловещей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. «Господи! Да когда же настанет рассвет!» — с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя,

как опаляет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание… Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игралищем пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской…

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

X

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на

ее порог, то сердце забилось с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь…

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться… Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная, сияющая улыбка любви… Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

— Что с вами случилось? Вы были больны? Ох,

как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни, — никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви… Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

— Ах, зачем я не знала, что вы захворали! — воскликнула она с нетерпеливым сожалением. — Я бы в один день вас на ноги поставила… Ну, как же

им можно довериться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь ли, Олеся… это и случилось так внезапно… и, кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоел я тебе… Послушай, Олеся, — прибавил я, понижая голос, — нам с тобой много, много нужно поговорить… только одним… понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

— Да… я и сама хотела… потом… подождите…

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорее, — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. — Если вас теперь сыростью охватит, — болезнь сейчас же назад вернется.

— А ты куда же, Олеся? — спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

— Пойду… провожу немножко, — ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на

бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

— Пойдешь-таки? — с ударением переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануйлихи.

— Да, и пойду! — возразила она надменно. — Уж давно об этом говорено и переговорено… Мое дело, мой и ответ.

— Эх, ты!.. — с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

— Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Ну да, не хочет… Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость.

— Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один… Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причиняла мне боль… Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мной… А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая… О, как ты меня мучила, Олеся!..

— Ну, перестаньте, голубчик… Забудьте это, — с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

— Нет, я ведь не в укор тебе говорю, — так, к слову пришлось… Теперь я понимаю, почему это было… А ведь сначала — право, даже смешно и вспомнить — я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять… Очень мне это было горько… Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет…

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

— И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! — горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

— Почему ты не хотела, Олеся? Почему? — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари…

— Почему? Почему, Олеся? — твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

— Я не могла… Я боялась, — еле слышно произнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти от судьбы… А теперь… теперь…

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуху, и вдруг ее руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый,

дрожащий шепот Олеси:

— Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

— Олеся, ради бога, не надо… оставь меня, — говорил я, стараясь разжать ее руки. — Теперь и я боюсь… боюсь самого себя… Пусти меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

— Не бойся, мой миленький, — сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. — Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану… Скажи только: любишь ли?

— Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но… не целуй меня больше… Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя…

Ее губы опять долго и мучительно-сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал

ее слова:

— Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше… Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет…

……

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака нервными, иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, — такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмол-

вием леса.

— Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, — спохватилась вдруг Олеся. — Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

— Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой:

— Нет, нет… Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо…

— А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

— О да, непременно… Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты… Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала… И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть… Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то

и будет, а я своей радости никому не отдам...

— Это правда, Олеся. Это и со мной так было, — сказал я, прикасаясь губами к ее виску. — Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней.

— Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, — заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими лунными бликами, — и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие лан-

дышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни… Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочли сходиться каждый вечер в лесу… И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с бóльшим удивлением находил, что Олеся — эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка — во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. В любви — в прямом, грубом ее смысле — всегда есть ужасные стороны, составляющие мученье и стыд для нервных художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью,

что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброде были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки — стало для меня больше, чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало

меня: я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и бóльшая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, — утешал я себя, — и живут прекрасно и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

— Здравствуй, мой родненький, — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. — Заждался небось? А я насилу-насилу вырвалась… Все с бабушкой воевала.

— До сих пор не утихла?

— Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за

него… Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе…»

— Это она про меня так?

— Про тебя, милый… Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

— А она все знает?

— Не скажу наверно… кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что об этом думать… Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал: если я скажу Олесе о моем отъезде и об женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту.

«Двадцать семь — мое феральное число, — думал я несколько минут спустя, — досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, — говорил я себе, — лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, — это составит как раз целую минуту, — и тогда непременно, непременно...»

— Что такое сегодня с тобой? — спросила вдруг Олеся. — Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной неестественной небрежностью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

— Действительно, есть маленькая неприятность... ты угадала, Олеся... Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежала краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный, напряженный скрип

коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя…

— Нет… что же… тут и говорить нечего, — отозвалась Олеся, как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. — Если служба, то, конечно… надо ехать…

Она остановилась около дерева и оперлась спиною о его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

— Олеся… что с тобой? Олеся… милая!..

— Ничего… извините меня… это пройдет. Так… голова закружилась…

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

— Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала, — сказал я с упреком. — Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не

удивили мои слова.

— Твоей женой? — Она медленно и печально покачала головой. — Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

— Почему же, Олеся? Почему?

— Нет, нет… Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты — барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею и куда ступить не знаю… Ты одного стыда из-за меня не оберешься…

— Это все глупости, Олеся! — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся… Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

— Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебе… Ведь у меня отца нет… Я незаконная…

— Перестань, Олеся… Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой, покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

— Голубчик… Лучше бы ты вовсе об этом не начинал разговора… Ты молодой, свободный… Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь… Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! — с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. — Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоем счастье думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Ну, посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

— Что ж… и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покоробила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома… они называются богадельнями… где таким старушкам дают и покой и уход внимательный…

— Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей боится.

— Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что без тебя мне и жизнь будет противна.

— Солнышко мое! — с глубокой нежностью произнесла Олеся. — Уж за одни твои слова спасибо тебе… Отогрел ты мое сердце… Но все-таки замуж я за тебя не пойду… Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь… Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все это хорошенько обдумаю… И с бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеся, — спросил я, осененный новой догадкой. — А может быть, ты опять… церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом, вместе с обладанием чародейными силами. В сущности, в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристикой последних десятилетий. Почем знать? — если бы Олеся глубоко веровала,

строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, — весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком) над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от Бога, о котором она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические выводы, все мои иной раз грубые и злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание.

— Ты боишься церкви, Олеся? — повторил я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что Бог не примет тебя? — продолжал я с возрастающей горячностью. — Что у Него не хватит для тебя милосердия? У Того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную смерть для избавления всех людей? У Того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с Ним в раю?..

Все это было уже не ново Олесе в моем толко-

вании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои раскрытые частым дыханием, влажные, милые губы…

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси:

— Ванечка! Подожди минутку… Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

— Олеся, о чем ты? — спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

— Милый… какой ты хороший! Какой ты добрый! — говорила она дрожащим голосом. — Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

— Олеся… Девочка моя славная, успокойся…

— Послушай, скажи мне, — продолжала она, — ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

— Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

— Как тебе сказать, Олеся? — начал я с запинкой. — Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться наконец. Но женщина… женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту Бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачем ты меня об этом спросила? — полюбопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

— Так себе… Просто спросила… Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же

завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже — помню, — пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

— Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое — я теперь безусловно верю в это! — никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях.

XII

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник Св. Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, по-

стом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже замечались

пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показывалось ни одного облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме фаршированной еврейской щукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно

и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа… В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой зийшла зоря, тай вечирняя
Над Почаевым стала.
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара…

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огром-

ную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на двенадцати нарах волов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божией Матери, но Бог не допустил совершиться злодейскому замыслу.

А приснилося старшему чтецу:

Той свичи не брати,
Вывезти еи в чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вот иноки

Вывезлы еи в чистое поле,
Сталы еи рубати,
Кули и патроны на вси стороны
Сталы – геть! – роскидати…

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против

обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

— Тише ты, дурень… Чего орешь! Услышит…

— А что мне, что услышит? — продолжал задорно мужик. — Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей

.....

.....

.....

.....

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни… Так же горячо палило солнце… Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная

площадь… Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева… Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

— Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения — Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

— Имею честь кланяться, — любезно тараторил

Никита Назарыч. — Очень приятно увидеться… А я уж тут жду вас с самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом.

— Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! — воскликнул он, давясь и прыская. — Ха-ха-ха-ха… Я даже боки рвал со смеху!..

— Что такое? Что за потеха? — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

— После обедни скандал здесь произошел, — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. — Перебродские дивчата… Нет, ей-богу, не выдержу… Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму… То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности… Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, утекла…

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

— Что вы говорите! — закричал я неистовым голосом. — Да перестаньте же ржать, черт вас

подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

— Я… я… право, не знаю-с, — растерянно залепетал он. — Кажется, какая-то Самуйлиха… Мануйлиха… или… Позвольте… Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, не запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы,

чтобы достоять до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озиравшуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся, в припадке злобы, ужаса и отчаяния, бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге — без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей, вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем, полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали… Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

— Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздал лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

XIII

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное, — сознание, похожее на тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время — как это странно! — у меня в голове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирника:

Ой вышло вийско турецкое,

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный, — с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно:

— Что? Доигрался, голубчик?

— Послушай, бабка, — возразил я сурово, — теперь не время считаться и выговаривать. Что с

Олесей?

— Тсс… тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей… Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала… А ведь чуяло мое сердце беду… Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? — вдруг с искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха. — Не ты, барчук проклятый? Да не лги — и не верти лисьим хвостом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?

— Не манил я ее, бабка… Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.

— Ах ты, горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха. — Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана… Простоволосая… Рассказывает, как что было, а сама — то хохочет, то плачет… Ну, прямо вот как кликуша какая… Легла в постель… все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекет рука-то… Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся так жаром и

пышет… Значит, огневица с ней началась… С час без умолку говорила, быстро да жалостно так… Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? — с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завыла нараспев вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне, то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая, — грубо прервал я Мануйлиху. — Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол… Так прошло минуть с десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха.

— Бабушка! — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. — Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завыла:

— Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне ста-а-арой, тошно мне-е-е-е…

— Ах, бабушка, да перестань ты! — с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. — Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся, — сказал я, понижая голос. — Я только что приехал верхом из деревни… А все утро я в городе был… Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна — одно над кистью, а другое повыше локтя — резко выделялись на белой, нежной коже.

— Голубчик мой, — заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого. — Хочется мне… на тебя посмотреть… да не могу я… Всю меня… изуродовали… Помнишь… тебе… мое

лицо так нравилось?.. Правда, ведь нравилось, родной?.. И я так этому всегда радовалась… А теперь тебе противно будет… смотреть на меня… Ну, вот… я… и не хочу…

— Олеся, прости меня, — шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая… Ну, чего я полезла… в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виновать…

— Олеся, позволь мне… Только обещай сначала, что позволишь…

— Обещаю, голубчик… все, что ты хочешь…

— Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором… Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласись, Олеся.

— Ох, милый… В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А нет — так бабушка

мне ландышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты — мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось… Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь…

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.

— Не смотри на меня… Прошу тебя… Гадкая я теперь, — умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

— Ты все знаешь? — шепотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось

только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачем меня там не было в это время! — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. — Я бы… я бы…

— Ну, полно… полно… Не сердись, голубчик, — кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

— Ты плачешь? Ты плачешь? — В голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. — Милый мой… Да перестань же, перестань… Не мучь себя, голубчик… Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

— Последние дни, Олеся? Почему — последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

— Надо нам проститься с тобой, Ванечка, — заговорила она решительно. — Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше…

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь… Ведь я там… в Переброде… погрозилась со зла да со стыда… А теперь, чуть что случится, сейчас на нас скажут: скот ли начнет падать, или хата у кого загорится, — все мы будем виноваты. Бабушка, — обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос, — правду ведь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внучечка? Не расслышала я, признаться! — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая бы беда в Переброде ни случилась, все на нас с тобой свалят.

— Ох, правда, правда, Олеся, — все на нас, горемычных, свалят… Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики… А тогда, как меня из села выгнали… Что ж?.. Разве не так же было? Погрозилась я… тоже вот с досады… одной дурище полосатой, а у нее — хвать

— ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, окаянные… Камнями стали шибать… Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все оберегаю… Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висельники поганые!

— Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни знакомых нет… Наконец, и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться.

— Обойдемся как-нибудь, — небрежно проговорила Олеся. — И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

— Ну уж и деньги тоже! — с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати. — Копеечки сиротские, слезами облитые…

— Олеся… А я как же? Обо мне ты и думать даже не хочешь! — воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

— Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только… видишь ли… не судьба нам вместе быть… вот что!.. Помнишь, я на тебя карты броса-

ла? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья… А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

— Олеся, опять ты про свою судьбу? — воскликнул я нетерпеливо. — Не хочу я в нее верить… и не буду никогда верить!..

— Ох, нет, нет… не говори этого, — испуганно зашептала Олеся. — Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нет… нет… нет… я знаю, я вижу, — твердила она настойчиво. — Ничего нам, кроме горя, не будет… ничего… ничего…

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я наконец спросил:

— Но ведь во всяком случае ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

— Я тебе на это скажу маленькую сказочку…

Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь готовься, — говорит волк, — сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горючими слезами: «Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

— Ваня, послушай… — произнесла она с расстановкой. — Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

— Подожди… Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся

со мною?

— Ни одного мгновения! Не только в твоем присутствии, но, даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал.

— Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною?

— Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза.

— Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом, — сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее. — Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяжело… Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

— А теперь поезжай, мой дорогой… Поезжай домой, голубчик… Устала я немножко. Подожди… поцелуй меня… Ты бабушки не бойся… она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

— Да уж простись, простись как следует, — недовольно проворчала старуха. — Чего же

передо мной таиться-то?.. Давно знаю…

— Поцелуй меня сюда и сюда еще… и сюда, — говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.

— Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше! — воскликнул я с испугом.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну, поезжай с богом. Нет, постой… еще минуточку… Наклони ко мне ухо… Знаешь, о чем я жалею? — зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке. — О том, что у меня нет от тебя ребеночка. Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня над Перебродом грозе, — сказала она убедительным тоном. — А чего доброго, даже и с градом.

XIV

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые — редкие и тяжелые — капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блистала почти беспрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех величиной, стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома, — оно стояло совершенно голое: все листья были сбиты с него страшными ударами града… Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмолы, который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с та-

кой силой ударил громадный кусок льда, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

— Паныч, — сказал он своим глухим голосом, в котором слышалось беспокойство. — Паныч, треба вам отсюда уезжать…

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмолу.

— Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

— Ничего я с ума не сходил, — огрызнулся Ярмола. — Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито как ногами потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира… Наслала-таки шкоду ведьмака чертова… чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения.

— Теперь вся громада бунтуется, — продолжал Ярмола. — С утра все опять перепились и орут… И про вас, панычу, кричат недоброе… А вы знаете, яка у нас громада?.. Если они ведьмакам що зробят, то так и треба, то справедливое дело, а вам, панычу, я скажу одно — утекайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вив-

шуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что же такое случилось? — прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати…

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов», — единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.

1899

Максим Горький

(1868–1936)

В лесу

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка — продавать...

Я обзавелся хорошими снастями; беседы со старыми птицеловами многому научили меня, — я один ходил ловить птиц почти за тридцать верст, в Кстовский лес, на берег Волги, где в мачтовом сосняке водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки — длиннохвостые белые птички редкой красоты.

Бывало — выйдешь с вечера и всю ночь шлепаешь по казанскому тракту, иногда — под осенним дождем, по глубокой грязи. За спиною обшитый клеенкой мешок, в нем садки и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая палка. Холодновато и боязно в осенней тьме, очень боязно!.. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом березы, простирая над головой моей мокрые сучья; слева, под горой, над черной Волгой, плывут, точно в бездонную пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж, бухают колеса по воде, гудят свистки.

С чугунной земли встают избы придорожных

деревень, подкатываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож бьет в било и пугливо кричит:

— Кто идет? Кого черти носят — не к ночи будь сказано?

Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, и брал с собою для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и все ахал:

— Опять идешь? Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а?

Звали его Нифонт, был он маленький, седенький, похожий на святого, часто он доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:

— На-ко, друг, я те гостинцу припас, покушай в сладость.

И провожал меня до околицы.

— Айда, с богом!

В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. Тихо. Все вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь серовато мглу чуть видны под горою широкие луга: они разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит не торопясь

посветлевшее солнце, на черных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогающее душу движение: все быстрее встает туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, — кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя все выше, оно, радостное, благословляет, греет оголенную, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя ее. Все плывет в даль и манит дойти до синих краев земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый…

Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей. Когда солнце поднимется над лугами, я невольно улыбаюсь от радости.

Надо мной звенит хвойный лес, отряхивая с зеленых лап капли росы; в тени, под деревья-

ми, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой иней утреннего заморозка. Порыжевшая трава примята дождями, склоненные к земле стебли неподвижны, но, когда на них падает светлый луч — заметен легкий трепет в травах, быть может последнее усилие жизни.

Проснулись птицы: серые московки пуховыми шариками падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями, черный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ, чистейших на земле.

Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание заработать деньги побеждают сожаление.

Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком

любопытны, и это губит их. Важные снегири — глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь: когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идет в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Она, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи.

К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями, — если идти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть — это уже было испытано мною.

Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее.

1914

Михаил Пришвин

(1873–1954)

Кладовая солнца

Сказка-быль

I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была, как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза. Безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали

хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило[26] длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под капели бочонок, кому кадушечка солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но,

---

[26] Сноски: 26

Ладило — бондарный инструмент Переславского района Ярославской области. (*Прим. М. М. Пришвина.*)

кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда Мужичок в мешочке начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть, — скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свек-

лу мотыжить, или картошку окучивать.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «Тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад,

ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку — и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «Тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же? — ответила Настя. — Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще!», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка[27] в лесу.

— Помню, — ответила Настя, — о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань[28].

— Вот там, возле елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держи-

---

[27] Сноски: 27

Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу. (*Прим. М. М. Пришвина.*)

[28] Сноски: 28

Елань — топкое место в болоте, все равно, что прорубь на льду. (*Прим. М. М. Пришвина.*)

те все прямо на север и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал.

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала?! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимою зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях — оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда с высокой пролысинки в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные

кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но брат и сестра знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

— Помню, тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил, он живет на Сухой речке в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует, — ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнилась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка Кряква на озере.

— Гу-гу-гу! — красивая птичка Снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом, длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает, Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово.

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь всеми голосами своими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один

— ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя. — Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем?

— Отец говорил: он кричит «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухает?

— Отец говорил: это ухает выпь, бык водяной.

— И чего он ухает?

— Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл особый, торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

— Что это, Митраша, — спросила Настенька, ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он страшно воет теперь?

— Отец говорил: волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место — Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями

за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали, как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху,

где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф», скорее всего, значило солнце, а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот пер-

вый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанье, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все

время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

— Кар-кар-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то сто-

роны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, — прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли — значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрела пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый Мужичок в мешочке. — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя. — И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну, ладно, — резко повернул Митраша. — Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силы долбанул его. Как ошпаренный, метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завыла.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належанного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в

это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну, брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда,

какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехался Антипыч.

— Ну, скажи.

— Нет, пока жив, я сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте: я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по при-

ятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она вдруг как вскочит и лапами на плечи — и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята, — сказал Антипыч. — Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как

разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла и выла.

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик.

VI

Сторожка Антипыча была вовсе недалеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы выли по-волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать, по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней — молодые переярки и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, — огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг…

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход,

и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в стадо и резал овец и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ран-

ней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, — это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой — воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, — дерево, собака — друг человека, или волк — злейший

враг его, — лишь бы он выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому.

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью мольбу о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, помолившись Антипычу, она

почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущие хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить: идти ли ей по следу русака на Слепую

елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?.. У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая, в таком случае начала делать круги, с высоко поднятой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц.

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана

к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же, после того с цепью на шее она пустилась на поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к лежачему камню, провери-

ла запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так и подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение — трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей Слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое, Слепая

елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото со всеми огромными запасами горючего торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достается человеку в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит

ногой как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала, как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше. Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая, стоя, вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и,

качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди него и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь, — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой

елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это означало у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил, — что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая: шел такой же человек, как и он, — значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел:

– Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого

цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево и туда идет далеко и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать — виднеется там, за полянкой?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.

— Эх, вы! — бывало, говорил нам Антипыч, — ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы, — отвечал он, — голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным: обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребятишки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали.

Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не знавши броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не знавши броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой поляне, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными водяными лилиями, купавами. Вот за то эта елань называлась

Слепою, что по виду ее было невозможно узнать

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу, — сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый — пропадать так уж пропадать, — на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно: положить плаш-

мя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя. И уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, косатые, длиннохвостые, стали трещать.

Одни вроде:

— Дри-ти-ти!

Другие:

— Дра-та-та!

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И, очень умные на всякое поганое дело, сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных

сторон начали прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал.

По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику, — та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Так же брусника, кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется

в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод.

То ли, что клюква — ягода дорогая весной, то ли, что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так и промаялась до ночи возле полной корзины.

А то, бывает, женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом, — не видит ли кто, — приляжет к земле на мокрое болото и ползет.

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так

она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно, что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями, — там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним.

И только-только бы вспомнить, как вдруг

Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть.

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу.

Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета?

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости. Ты бы, ворон, сказал им.

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу, — тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха, — только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый

осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву, и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках.

Лось ее и за человека не считает: у нее все

повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна громадная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову.

Тогда-то, наконец, Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как

мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака эта была Травка. И Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюковинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась? Где же был за это время брат голодный и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону.

X

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Невесело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром «победа», а вроде как бы:

— Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее в со-

леную от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и, так ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услыхали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей, скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала. И Серый остановился переждать, когда вой снова

начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла — лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тявкает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча остановится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца от Лежачего камня: заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можже-

вельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица.

Так вот одновременно сошлись: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался, до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка, своим собачьим способом, бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю

тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии: одни остались при маленьком человечке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, — какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир: разве что так.

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку.

Но подскочить совсем не могли: руки у человечка были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет

на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит. Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, — в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что, если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее.

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело: умная гончая тоже по-

нимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках, не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг.

Зайцу повезло на этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся страшный шум.

Можно догадаться, — заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: «Подальше от греха» — и, ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след к Лежачему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человечка в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были, как два человека: один Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит

сразу к человеку, а становится и узнает: ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь — весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься

на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало: если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг…

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое, и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова травить, и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ

Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну, ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга — собаку.

Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал: «Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал: «Ползи только, ползи».

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил

большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в

шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, человек, когда-то, в древнем прошлом его, перешепнул своему другу-собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка — гончая собака, и дело ее — гонять для себя, но для хозяина-Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей

золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и,

когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, — глядим: а охотники за сладкой клюквой идут из лесу гуськом, на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас поверили: неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели, — на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили «Мужичок в мешочке»!

И тогда незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке», правда, стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли и что она благоразумно звала брата на торную тропу и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах!

1945

Константин Паустовский

(1892–1968)

Мещёрская сторона

Обыкновенная земля

В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещёрском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик

— «болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещёрском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу, и, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все гео-

графические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещёрского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещёрские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.

Первое знакомство

Впервые я попал в Мещёрский край с севера, из Владимира.

За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг

задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадях, вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая козьи ножки и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещёрских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти, — сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели, — надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот, — сказал дед горестно, — за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно существование наше, — повторил дед. — Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещерой. Потом я услышал

много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

Старинная карта

С большим трудом я достал карту Мещёрского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек, — кричит местный житель, — других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый,

край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением.

Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к

нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

Несколько слов о приметах

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется

слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это все очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не

больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

Возвращение к карте

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещёрского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещёрского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли.

Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещёрские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещёрского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

Мшары

К востоку от Боровых озер лежат громадные Мещёрские болота — «мшары», или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, — бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А

самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. Оттого, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез

и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещёрском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

— Это его тропа на водопой, — сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только

волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело, — и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ, — тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел

вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро, — ответил он. — Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой Мещёрские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили в этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы,

налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины, — говорили они нараспев. — Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

Лесные реки и каналы

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне

зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещёры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещёрском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещёрские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещёру была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещёре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в

глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещёры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещёры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещёры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

Леса

Мещёра — остаток лесного океана. Мещёрские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещёрском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру, — на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна

широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещёре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание

вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду, — ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце

бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла

под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещёре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает

блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой — чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер все же — черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер — чем

старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещёрских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

Луга

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто

из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, — травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем — белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует

описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я

зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется, как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив…

И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, — все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет

долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то, что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки

переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Небольшое отступление от темы

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе

Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже

самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с

ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот,

сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд, в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих

пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

Еще о лугах

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились

бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

Старики

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда

приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожди» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер

ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дите, — сказал Степан. — Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед. — Телку в лугах искала-искала да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои, — сказал дед, закуривая, — бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все

эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай, на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед Матерью Божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас, почитай, никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех, — пробормотал смущенно дед. — Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

— Житьишко наше было плохое, — сказал он, сокрушаясь. — Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке.

Дед постучал корявым пальцем по лбу.

— Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорят — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу: схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она

у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

Родина талантов

На краю Мещёрских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из

лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами. Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась

— стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе — принесла продавать сметану.

— Ежели тебе еще сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой, — вздохнула бабка и

вытерла рот концом платка. — Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, все равно тощает, — говорит Кузьма. — Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в стару-

хиной избе, в сундуке, — осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня, — учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы, — и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася

перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещёру. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, — писал Вася. — Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хо-

жу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь Вася Зотов».

Мой дом

Маленький дом, где я живу в Мещёре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они поды-

маются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет

в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке за-

водит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Бескорыстие

Можно еще много писать о Мещёрском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещёрский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

1939